

ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ



ДИАНА ЭВАНС

Диана Эванс  
**Обычные люди**

Издательство «Синдбад»

2018

**Эванс Д.**

Обычные люди / Д. Эванс — Издательство «Синдбад», 2018

ISBN 978-5-00131-483-7

«Обычные люди» – это две живущие в Лондоне супружеские пары: Майкл и Мелисса, Дэмиэн и Стефани. Обе пары переживают переломный момент: либо их семейная жизнь обретет второе дыхание, либо потерпит крах. Мелисса после рождения второго ребенка боится, что ее журналистская карьера закончится и она превратится в мать-домохозяйку. Майклу недостает в их отношениях былой страсти, и он начинает изменять Мелиссе. Стефани счастлива своей ролью жены, матери троих детей и хозяйки уютного дома, но ее тревожит психологическое состояние мужа – Дэмиэн тяжело переживает смерть отца и считает свою жизнь неудавшейся. Новая книга восходящей звезды британской литературы Дианы Эванс – глубокое и тонкое исследование эволюции семейных отношений: как на них сказываются рождение детей, профессиональная жизнь, изменения в интимной сфере, личные потери и возраст.

ISBN 978-5-00131-483-7

© Эванс Д., 2018

© Издательство «Синдбад», 2018

# Содержание

1	6
2	20
3	32
4	41
Конец ознакомительного фрагмента.	48

# Диана Эванс

## ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ

*Построил из стекла я дом  
За много-много лет,  
Да только у меня о нем  
Уж гордых мыслей нет.*

*Гордиться у меня нет сил.  
Шепчу я не со зла:  
«Ах, хоть бы кто-нибудь разбил  
Мой замок из стекла!»*

*Но слишком пышен он на вид,  
И камень не швырнет  
Сосед, что сам, полузабыт,  
В таком дворце живет.*

*Эдвард Томас*

Diana Evans  
ORDINARY PEOPLE

Copyright © Diana Evans, 2018  
Published in the Russian language by arrangement with *Aitken Alexander Associates Ltd.* and  
*The Van Lear Agency LLC*  
Russian Edition Copyright © Sindbad Publishers Ltd., 2022  
*Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая фирма «Корпус Права»*

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. Издательство  
«Синдбад», 2022

# 1

## M&M'S

В честь избрания Барака Обамы президентом США братья Уайли устроили вечеринку у себя дома в районе Кристал-Пэлэс. Они жили возле самого парка, где ретрансляционная вышка вздымалась в небеса, точно уменьшенная копия Эйфелевой башни, металлически поблескивая днем, светясь красными огнями ночью, она озидала окрестные кварталы и прилегающие графства, а на зеленых лугах у ее подножия ютились останки давно погибшего стеклянного королевства: озеро, лабиринт из живой изгороди, сломанные статуи в греческом духе, выкрошившиеся каменные львы и динозавры, сделанные по канонам былой науки.

Раньше братья Уайли жили на северном берегу Темзы, но впоследствии перебрались на южный, привлеченные его творческой энергией и очарованием бедности (они сознавали свое привилегированное положение и хотели показать, что превозмогли ее духовно). Старший, Брюс, был известным фотографом, и его студия в задней части дома представляла собой лабиринт световых пятен и теней. Габриэль был экономистом. Они во всем являли полную противоположность друг другу: Брюс был крупный, Габриэль – тощий; Брюс выпивал, Габриэль – нет; Брюс костюмов не носил, Габриэль носил только костюмы. Но вечеринками они занимались с равным энтузиазмом и рвением. Вначале они составляли список приглашенных, который включал всех важных, успешных и красивых знакомых: адвокатов, журналистов, актеров, политиков. В зависимости от масштабов мероприятия выбирались и менее именитые гости – по особой скользкой шкале с учетом статуса, связей, внешности и характера. Все это братья обсуждали в своем зимнем саду, где проходило большинство их вечерних дискуссий. На сей раз они позвали больше народу, чем обычно: им хотелось устроить грандиозное мероприятие. Когда список был готов, Габриэль разослал всем приглашенным сообщения.

Затем они взялись за три важнейших ингредиента: напитки, еду и музыку. Вечеринку назначили на первую субботу после выборов, так что у них оставалось не так уж много времени. Они купили шампанское, орехи макадамия, куриные крылышки и оливки с красным перцем, попутно обсуждая основные моменты бессонной ночи со вторника на среду: как синие штаты съедали красные, как Джесси Джексон плакал в Грант-парке<sup>1</sup>, как семейство Обама победоносно шествовало на сцену, окруженную прозрачными пуленепробиваемыми стенками; и следующий день – с необычно ясным и синим для ноября небом; и как люди, незнакомые люди говорили друг другу с открытыми улыбками «доброе утро», – и это в Лондоне! Составляя плейлист, который затем предстояло отдать диджею, братья представляли себе, как из окон Белого дома струится музыка Джилл Скотт, Эла Грина, Джея-Зи. Для звукоизоляции и защиты они закрыли фанерными листами металлический стеллаж в гостиной, а поверх ореховых полов постелили старенькие коврики. Они оставили картину Криса Офили на центральной стене и диван с декоративными подушками, но почти всю остальную мебель убрали. На зеркале в ванной Габриэль приклеил записку, которая должна была напоминать гостям: это все же дом, а не ночной клуб.

А потом появились гости. Они приехали отовсюду – из северных районов Лондона, из кварталов близ трассы А205, из дальних пригородов, с соседних улиц. В шубах из искусственного меха и джинсах в обтяжку, блестящих босоножках, кричаще-ярких рубашках. Они тоже не спали в ночь на среду, наблюдая, как синие пожирают красных, как дочери Обамы выходят на сцену в своих маленьких, превосходно сшитых платьях; при виде их взволнованно пересту-

---

<sup>1</sup> Имеется в виду район города Вашингтон. Джесси Джексон (р. 1941) – темнокожий американский политик и общественный деятель, оказывавший большую поддержку Обаме во время предвыборной кампании. (*Здесь и далее прим. пер.*)

пающих туфелек многие подумали о четырех девочках, которых сорок пять лет назад куклукс-клановцы взорвали в алабамской церкви. Может быть, именно поэтому и плакал Джесси Джексон: девочек озаряло собственное пламя, и невозможно было, глядя на этот новый виток истории, не вспоминать давнее, куда более страшное событие; так что торжество оказалось в то же время и траурной церемонией. В тот вечер праздновали по всему городу – в Далстоне, Килберне, Брикстоне, Боу. Через Темзу туда-сюда сновали машины, и с высоты река была сама чернота, рассекаемая стремительными полосами света. Публика лакировала афропрически, подстригала эспаньолки. Облачка дезодоранта и лака для волос постепенно рассеивались под потолками пустых ванн комнат, в то время как гости подходили, парковали машины в тени вышки, прокатывали транспортные карты через турникеты станции «Кристал-Пэлас», пробирались к дому с бутылками мальбека, мерло, виски и рома, которые Габриэль принимал обеими тонкими руками посреди залитой светом сутолоки кухни. Обязанности привратника исполнял Брюс – пока не отдался питейным удовольствиям. Приходили все новые и новые гости: мужчины в хорошем настроении и соответствующих кроссовках, женщины, чьи в разной степени нарощенные волосы – кудри, косы, длинные прямые гривы – колыхались за спиной, покуда каждая гостья врывалась в музыку, словно очередная Бейонсе.

Среди гостей была пара, прибывшая в красной «тойоте»-седане: Мелисса и Майкл, знакомые братьев из медийного мира. Брюс знал Майкла еще со студенческих времен, по Школе востоковедения и африканистики. Майкл – высокий, плечистый, с узким щетинистым подбородком и красивыми глазами – брил волосы почти под ноль, так что с трудом угадывалась их густота и глянцевитость – наследие каких-то далеких индийских предков. Он был в свободных черных джинсах, глянцевого серой сорочке, стильных кроссовках – их белые подошвы мелькали, пока он, чуть пританцовывая, двигался вперед, и кожаной куртке цвета каштана. Мелисса пришла в пастельно-розовом шелковом платье с ярким подолом в стиле бохо, зеленовато-желтых босоножках с ремешками крест-накрест и черном вельветовом пальто со свободным воротом; надо лбом ее буйные кудри были стянуты в диагональные афрокосички, а в остальном лишь приглажены гелем. Такая прическа придавала лицу Мелиссы что-то детское: высокий лоб, лукаво-беззащитные глаза. Вместе эта пара являла собой пример обычной, переходящей красоты – на таких оглядываются, – однако вблизи становились заметны тени и первые морщины на лицах, потускневшие, неидеальные зубы. Мелисса с Майклом находились на излете юности, на том ее этапе, когда возраст уже дает себя знать через ускорение времени и багаж прожитых лет. Но оба настаивали на своей молодости. Держались за нее обеими руками.

Едва они вступили в столпотворение дома Уайли, как их верхняя одежда перешла к Хелен, беременной невесте Габриэля, а затем, при посредстве двух племянников-подростков в брюках со стрелками, переместилась в спальню наверху. Семейство Обама повысило ценность жеста «дай пять», так что в воздухе то и дело слышались хлопки. Гости расцеловывались, соприкасаясь одними щеками, похлопывали друг друга по плечу, много вспоминали о ночи со вторника на среду и о последовавших днях, рассуждая, как мир изменился, но при этом остался точно таким же. А с танцпола гремела музыка: «*Love Like This*» Фэйт Эванс, «*Breathe and Stop*» Кью-Типа. Часто успех вечеринки можно измерить по реакции гостей на песню «*Jump*» дуэта *Kris Kross*: начинают ли они подпрыгивать на припеве и как долго это длится. На этот раз все получилось как надо: диджей призывал всех прыгать, когда того требовала песня, шелкать зажигалкой, когда того требовала другая песня, время от времени восклицать: «Обама!» – иногда в такт музыке. Вскоре уже отчетливо ощущалась вопросно-ответная структура спиричуэла: стоило прозвучать этому имени, как его подхватывала толпа; в воодушевлении диджей мог повторить его снова или просто воскликнуть: «Барак!» – порождая еще один коллективный отзыв танцпола. Но за всем этим сквозило легкое разочарование, ощущение контраста между величиим момента и реальными проблемами: ведь за пределами этого дома были парни, кото-

рые где-то еще могли бы стать Обамами, но здесь палили друг в друга, и девушки, которые где-то еще могли бы стать такими, как Мишель.

Становилось все жарче. Разгоряченные тела бессильно клонились друг к другу, и казалось, что существует лишь эта движущаяся темнота, эта музыка. Очередная песня началась со смеха Мэрайи Кэри, обсуждавшей с Джем-Зи, с чего бы начать; затем последовал разговор между Марком Ронсоном и Эми Уайнхаус, которая извинялась за опоздание. Дальше вступил Майкл Джексон, визжащие рифы «*Thriller*», медовый вокал «*P. U. T.*», и тут танцы синхронизировались в единый тустеп, три поворота и возвращение к исходной позиции: левая ступня вперед. Это стало кульминацией вечера. Потом музыка сбавит накал, темп замедлится, толпа начнет редеть, освобождая место для танцев, требующих большей свободы, к которым привыкли стены этого дома. Племянники снова забегали вверх-вниз по лестнице, перенося одежду в обратном направлении. Наступил долгий ночной исход: люди возвращались в город, их голоса осипли от воплей, их кожа стала влажной от пота, их слух притуплен от басов. Постепенно дом опустеет, а Брюс продолжит пить и только где-то перед рассветом почувствует, что ему срочно надо лечь, и уснет прямо на кухонном полу или на диване под Офили, а Габриэль, если он рано поутру спустится за стаканом воды для Хелен, подложит ему подушку под голову, накроет одеялом, слегка пнет ногой и с удовольствием представит, как они будут обсуждать лучшие моменты вечеринки и решать, кого из гостей стоит позвать в следующий раз.

Что такое хорошая тусовка, как не повод для любви ранним утром? Долгожданной любви. Поцелуи, прикосновения были почти забыты за всеми этими родительскими обязанностями, частыми пробуждениями младенца-сына, а на рассвете – требованиями маленькой дочки дать ей хлопья. Но разве сейчас, когда дом наконец опустел на целую ночь, – благодаря любезности бабушки и дедушки, живущих по ту сторону реки, – были дела более насущные, чем яростно, исступленно совокупляться, чем напомнить друг другу, что вы не просто партнеры в самом унылом смысле слова, но еще и любовники, а может, даже и влюбленные? Эта настоятельная потребность наполняла собой атмосферу в красной «тойоте», которая двигалась прочь от вышки, от праздника в честь Обамы, через Вествуд-Хилл в сторону района Белл-Грин. Машину вела Мелисса. Колени Майкла, слегка пьяного, касались нижнего края приборной панели, а правая рука с надеждой легла на бедро Мелиссы. Та не возражала, хоть на вечеринке Майкл и не стал танцевать с ней, и регулярно запускает посудомойку, не выгрузив оттуда чистую посуду, отчего та снова намокает, к бешенству Мелиссы. По бокам салона виднелись предательские остатки прежней обивки с узором из тускло-зеленых и лиловых листьев, с которой пришлось смириться, поскольку машина в общем обошлась дешево. От этого уродства спаслись только кресла, обтянутые фирменной тканью, правда, успевшей выгореть и вытереться под весом Майкла и Мелиссы в их регулярных совместных поездках.

В этой же машине, весной, когда через открытый люк сочился сладкий раскрепощенный апрельский дух, они переехали Темзу с севера на юг по Воксхолльскому мосту, направляясь к своему первому дому. Мелисса была на седьмом месяце, но все равно сидела за рулем: она обожала водить, ее завораживало ощущение простора, скорости и встречного ветра – да и потом, все равно некуда было поставить гигантский спатифиллум, безумно разросшийся в гостиной старой квартиры, кроме как на колени Майклу, благо у него не было беременного живота. Он придерживал растение, не давая ему упасть; громадные зеленые листья и высокие белые слезоточащие цветы касались потолка, стеклов, его лица. Все имеющиеся в машине емкости заполняли их вещи: коробки с книгами, кассеты и пластинки, одежда, кубинская гейзерная кофеварка и чешская марионетка, картины индиго, одна с танцорами в сумерках, другая с танзанийскими птицами, эбеновая маска с рынка Лекки в Лагосе, русские матрешки, голландская жаровня, кресло папасан, остекленные фотографии Кассандры Уилсон, Эрики Баду, Фелы Кути и других кумиров, настольная лампа с регулирующимся штативом, кухонная

утварь – а также их дочь Риа, которая спала, покуда по реке проносились россыпи бриллиантов, не ведающих о краткости своего водного бытия. Машина летела над рекой под долгую песню Айзека Хейза. Под ее отяжелевшими красными крыльями качалась и ворочалась вода, металась, вскидываясь мятежными волнами, потряхивала серебристыми плечами и трепетала в тихих арках мостов.

А примерно за сто пятьдесят шесть лет до этого, не на машине, а на множестве лошадей и телег, Хрустальный дворец и его содержимое так же транспортировались из Гайд-парка в новый дом посреди дубовой рощи, на живописной вершине холма Сайднем-Хилл. Закончилась Всемирная выставка 1851 года. Стеклому королевству теперь уже незачем было красоваться в самом сердце главного лондонского парка, и оно отправилось на юг, сиять на окраине, куда люди, преодолевая многие мили и пересекая океаны, устремятся, чтобы увидеть колоссов из Абу-Симбела, гробницу из Бени-Хасана, трюки воздушной гимнастики Леоны Дэр на воздушном шаре, экзотические предметы из дальних стран. Реку переезжали мумии. В телегах ехали бархат, пенька, бельгийские кружева. Венские кровати. Майолика, терракота, великолепные самородки валлийского золота. А также боевые корабли, армейские винтовки, занятые ручные и ножные кандалы, шампанское из ревеня. Все это неспешно перебралось на конной тяге через реку и двинулось дальше через Ламбет, в Луишем, вверх по южным склонам, пока наконец не остановилось в зеленых просторах, которые позже назовут Кристал-Пэлс-парк, чьи далекие холмы таяли теперь за задним стеклом красной «тойоты».

Майкл надеялся, что нынешняя ночь будет такой же, как одна из тех ночей тринадцать лет назад, в первые месяцы их с Мелиссой романа. Тогда они тоже вернулись домой с какой-то вечеринки и, забыв о сне, о наступающем новом дне, продолжили танец в мягкой тишине простыней, покуда за окном рассеивался туман, разгорался свет и все громче пели птицы. Они войдут в пустой дом. Снимут верхнюю одежду и обувь, может быть, немного поболтают, а потом, сплетя пальцы, отправятся наверх в спальню и там возобновят разговор – сперва осторожно, как бы сомневаясь, а потом все быстрее и быстрее. Алмазы и самоцветы не теряют своего блеска. Они вдвоем словно бы развернут забытую запылившуюся драгоценность и увидят, что она по-прежнему сияет. Ладонь Майкла оставалась на бедре Мелиссы, чтобы удержать это сияние, хотя и приглушенное тем фактом, что разговаривать им, похоже, не о чем было. («Тебе понравилось? – Ага. А тебе? – Ну да, круто было. Устала? – Так, немножко. А ты? – Нет».) Бедро Мелиссы оставалось совершенно неподвижным, не поощряя ласки, но и не отвергая. По Вествуд-Хилл они выехали на круговой перекресток возле кафе «Коббс-Корнер», к началу торговой улицы, и перед ними, ухмыляясь в темноте, возник свадебный салон с чудосочными манекенами в старомодных платьях, добавив огня в предвкушение их долгожданного соития. Тринадцать лет назад Майкл в приступе эйфории сделал Мелиссе предложение, и она ответила «да», но свадьба так и не состоялась. Она где-то затерялась – сначала в лени и нежелании все это организовывать, потом в охлаждении, которое, по данным исследований, обычно появляется через три года, а затем в куче домашних хлопот, что начинает расти возле дверей страсти, когда появляется ребенок и взрослая жизнь являет себя во всей красе, облаченная в мятый серый халат. А может, свадьба все-таки будет, иногда думалось Мелиссе. Тогда ее надо сыграть в одном из старых, колониального стиля корпусов Гринвичского университета; Мелисса – в ярко-синем платье со шлейфом, с обнаженными плечами, Майкл – в белом костюме. А потом они выйдут к Темзе как муж и жена, встанут у ограждения и будут смотреть, как вода танцует с солнцем. Правда, сейчас такое казалось маловероятным.

В тот вешний день они тоже ехали вместе со всеми своими вещами; ребенок пинался в животе, лист спатириллума щекотал Майклу ноздрю. Мимо свадебного салона, по круговому перекрестку, мимо улицы Стейшн-Эппроуч, сквозь заторы у магазинов, где то и дело приходилось останавливаться. На торговой улице располагалось шесть парикмахерских, пять закусокных с едой навынос, четыре магазинчика «Все по фунту», пять благотворительных комис-

сионок, пять индийских кафе, два ломбарда, тату-салон, нигерийская типография, а также несколько довольно обшарпанных забегаловок. *Starbucks* и *Cafè Nero* до этой улицы еще не добрались и, возможно, не доберутся никогда, но предвкушение этого здесь уже чувствовалось. Так, на выцветшем тканевом козырьке одного из индийских рестораничков значилось:

## ТАДЖ НЬЮ-ЙОРК ЛОНДОН ДЕЛИ

с расчетом на то, что само существование этих далеких заведений в других залитых огнями мегаполисах привлечет клиентов к бурой тикке и повторно разогретой курме. В конце улицы находилась библиотека, которая все еще закрывалась по средам, отказываясь признать, что печатному слову давно уже не нужен отдых в середине недели. Рядом располагался парк с детской площадкой, окруженный многоэтажными домами. И наконец, у самой развязки с пятью съездами, застывшей в нескончаемой пробке, стоял супермаркет – почти такой же огромный, как «Япония». Где бы вы ни находились: на автостоянке перед супермаркетом, возле плакучей березы в одном из переулков или даже в каком-то из прилегающих районов – Бекенхеме, Кэтфорде, Пендже, – вы видели, как ретрансляционная башня, вздымается над окрестностями, то и дело возникая в просветах между зданиями. На самом деле башен было две: другую, поменьше, чем малая Эйфелева, возвели на вершине холма Бьюла-Хилл в явное подражание первой. Вместе они были высоким, далеким напоминанием о давнем стеклянном королевстве, которое заново возвели к югу от Темзы после утомительного гужевого путешествия.

Само стекло пришлось покупать заново. Оно прибыло на место в деревянных ящиках, выстланных изнутри соломой. Триста тысяч листов. Двести акров общей площади. Этот дворец станет втрое больше оригинала. На восточном краю участок имел уклон, так что там добавили подвальный этаж. Центральный неф расширили, и для баланса понадобились два новых крыла. Внутри было несколько залов: Византия, Египет, Альгамбра, Ренессанс. Гробницу из Бени-Хасана разместили в египетском. Изваяния львов – в альгамбрском. После девяноста дней пути все нашло свое место: бархат, валлийское золото, кандалы, шампанское из ревеня. В вольерах находились птицы, в цветочных святилищах – лилии. В кустах возле озера установили скульптуры динозавров. Когда все было готово, подмели широкую лестницу, ведущую ко входу, включили фонтаны и водонапорные башни, – и королевство возродилось: дворец на холме, гигантский стеклянный дом под сверкающей прозрачной крышей из железа и стекла.

В конце торговой улицы, через несколько кварталов после библиотеки, Мелисса свернула налево и припарковалась в средней части улицы Парадайз-роу, на правой стороне.

\* \* \*

Их дом был тринадцатым в череде собратьев из заблокированной застройки. Нумерация шла подряд: четные и нечетные номера по одной и той же стороне. Это был поджарый викторианский дом белого цвета, с узкой парадной дверью и двойными окнами. Внутри, над тесной лестницей, имелось потолочное окно, сквозь которое в ясные ночи виднелись далекие звезды. Комнаты были светлые, хоть и маленькие, стены слегка скошены, дорожка к входной двери – коротенькая, ширина коридора не позволяла идти по нему вдвоем бок о бок.

Прежде дом принадлежал семейной, ныне разведенной паре и их дочери и с годами претерпел многочисленные переделки, которые производили впечатление нелепости, особенно в том, что касалось дверей. Кто-то захотел перенести ванную вниз, так что позади кухни сделали пристройку с плоской крышей, и наверху появилось место для третьей спальни. Кто-то другой

решил, что гостиная отдельно от столовой выглядит как-то одиноко и убого, поэтому в период моды на открытую планировку разделяющую стену снесли, оставив под потолком широкую, как в церкви, арку. Алан, бывший муж Бриджит, предыдущей владелицы, решил (когда еще не стал бывшим), что двойные двери гораздо лучше будут отделять кухню от ванной, чем раздвижное нечто гармошкой, которое Бриджит попросила заменить по причине поломки. Алану хотелось, скажем, чудесным солнечным утром спуститься вниз в своем шелковом халате, прошеествовать через кухню в ванную и, вместо того чтобы сражаться с очередной неуклюжей и неромантической пластмассовой штуковиной, одним движением распахнуть стильные бело-снежные деревянные двери – дыша полной грудью, высоко подняв голову, с открытым сердцем, полным готовности встретить еще один день в браке. Так что он отправился в магазин стройматериалов «Хоум-бейз», расположенный неподалеку в здании из стекла и металла. Хотя Алан терпеть не мог «Хоум-бейз», он упорно ходил между полками в поисках нужных материалов, а потом в течение месяца каждые выходные занимался дверьми. Он пилил и шкурил. Он подолгу сидел на корточках, так что начинали болеть ляжки. Он пропустил свидание с любовницей. Он повредил запястье. И вот, к вечеру четвертого воскресенья, в прелестных розоватых сумерках, работа была завершена. Двойные двери. Величественные, роскошные двойные двери, со вкусом проводящие границу между потреблением и пищеварением. Бриджит будет довольна. Их любовь вспыхнет с новой силой. Ему больше никогда не придется ночевать в машине. Однако, воплощая свою мечту, Алан не успел задуматься о том, что места для нее недостаточно. Дверей в небольшом проходе и так уже хватало. Так что распахивание новых деревянных створок вовсе не вызывало той гордости и воодушевления, как ему представлялось, а проход в них – той радости. Алан породил дверной ералаш, в котором его двери были самыми кривыми, из-за них по утрам на первом этаже возникали заторы, а пояс халата самым раздражающим образом цеплялся за латунные ручки. Бриджит не впечатлилась. Вскоре Алан съехал.

Мелисса познакомилась с Бриджит и ее дочерью, когда приехала в этот дом во второй раз, уже одна (поскольку сомневалась, у нее было какое-то «ощущение», как она объяснила Майклу, связанное не только с номером дома). Бриджит оказалась угрюмой брюнеткой в строгом костюме. Она совершенно неподвижно стояла у обеденного стола недалеко от лестницы, пока Мелисса задавала ей вопросы насчет мышей, соседей и воров. Лишь когда Мелисса собралась уходить, так и не заглянув во вторую спальню (Бриджит сказала, что там спит ее дочь), хозяйка отошла от стола и направилась в коридор. Тут сверху донесся звук, словно бы шаги. Мелисса подняла взгляд, и на верхней лестничной площадке, прямо под потолочным окном, увидела девочку лет семи или восьми, в голубых пижамных штанах и желтом халатике. У нее была неестественно бледная кожа, особенно на руках. В соломенных волосах играли блики прохладного зимнего света, падавшего в потолочное окно.

– Лили, – сердито произнесла Бриджит, – тебе нельзя вставать с постели.

– Я не устала, – отозвалась девочка.

– Давай-ка иди обратно. Я через минутку приду.

Но Лили не шелохнулась. Бриджит повернулась, вспомнив о Мелиссе:

– Извините... моя дочка. Ей немного нездоровится.

– Немного нездоровится, – проговорила Лили с точно такой же интонацией. И стала спускаться по лестнице.

Она прихрамывала и чуть улыбалась – шкодливой, недоброй улыбкой. Бриджит попятилась. Добравшись до пятой ступеньки снизу, Лили уселась на нее и спросила Мелиссу:

– Что ли, вы та женщина, которая собирается наконец купить этот дом?

Несмотря на это, на «ощущение», на номер и все прочее, они его и правда купили. Высокие потолки, много света. Очаровательная раковина на кухне, квадратная и глубокая, убедительные полы с подогревом. Сад представлял собой просто мощный квадрат размером чуть больше почтовой марки, но им требовался дом, им требовалось два этажа, чтобы можно было

смотреть сны наверху и спускаться вниз к завтраку и навстречу новому дню. Они занимались поисками больше года. Искали на севере – слишком дорого; искали на востоке (во мраке Уолтемстоу, среди тощих газонов Чингфорда), но лишь здесь, далеко-далеко на юге, на этой пологой улице в Белл-Грин они смогли себе представить – и позволить – этот сон наверху, эти завтраки внизу, отдельную комнату для Риа, книжные полки в нишах, картины с птицами и танцорами на стенах, фотографии кумиров в коридоре, где было слишком много дверей и спатифиллум в свете сдвоенного окна.

И вот четыре месяца спустя вещи были выгружены из машины и высились пугающей горой на полу новой гостиной. Ламинат заменили лакированным дубовым паркетом цвета сливочного масла с вкраплениями свойственной этому дереву черноты. Стены отмыли концентрированным раствором соды, чтобы избавиться от следов кошки, принадлежавшей Бриджит. Остатки кошачьих токсинов выкинули вместе с синим ковром, покрывавшим лестницу. Его сменило покрытие цвета паприки, перекликавшегося с оттенком кафеля на кухне и в ванной. Спальню Риа, где раньше спала Лили, выкрасили в желтый. В этой же комнате потом будет жить и младенец, который покуда пинался и пинался, так что очертания его маленьких ступней проступали под кожей Мелиссы. А главная спальня, выходящая окнами на улицу, приобрела насыщенный, темный, сочный красный цвет: цвет неувядающей любви, цвет страсти. Все три окна прикрывали бамбуковые жалюзи. Танцующих в сумерках повесили на противоположную стену, а танзанийских птиц – возле лестницы. Огромная кровать из бутика в Камдене высилась посреди комнаты, словно гигантский массивный корабль. И вот в одну из ночей, когда все уже было сделано, гора вещей рассосалась и оставались лишь мелочи, которые и делают жилище настоящим домом (расставить безделушки, привинтить крючки для кухонных полотенец), Мелисса лежала на боку, словно выброшенная на берег прибоем, в своей черной хлопковой ночной рубашке, среди июльской жары, не в состоянии уснуть, и вдруг почувствовала, как огромная и цепкая волна прокатывается вверх и вниз по ее телу, более цепкая и властная, чем все предыдущие: пара призрачных рук стиснула ей живот, словно хотела его куда-то швырнуть, и Мелисса широко распахнула свои беспокойные глаза и уставилась во тьму безмолвной ночи. Она оказалась на краю пропасти. Совсем одна. Срок настал.

В семье Мелиссы женщины рожали с радостной, стойкой готовностью и природной выдержкой. Ее мать произвела на свет трех девочек и мертворожденного мальчика в эпоху воплей, до массового распространения эпидуральной анестезии. Сестры Мелиссы, Кэрол и Адель, обошлись лишь самыми простыми обезболивающими, отказавшись загрязнять родовые пути лишними лекарствами. Они были «земными матерями», для которых дитя – рулевой, тело матери – корабль, а боль – море, красота, даяние, объятия вселенной, обними ее в ответ. Мелисса, как показало появление на свет Риа, не была земной матерью: после трех дней прекрасных объятий с болью младенца пришлось иссечь из чрева матери, словно шекспировского Макдуфа. На сей раз Мелисса твердо решила вообще не посещать этот дом ужасов, это жестокое море и сразу отправиться под нож, однако примерно на пятом месяце, занимаясь йогой для беременных, она задумалась, каково это – наблюдать за могучими движениями родовых путей, за опорожнением раздувшейся утробы, за прорезыванием маленькой головки. Любопытство все усиливалось, и в конце концов она объявила своей акушерке, что желает ВРПКС<sup>2</sup>: термин, отсылающий к категории женщин, которым хватает ума попробовать вернуться к естественному способу через влагалище, рискуя разрывом кесарева рубца ради того лишь, чтобы испытать на себе, какова она – эта квинтэссенция женственности, апофеоз женского естества.

Стоя на следующее утро в квадрате своего двора после еще одной призрачной цепкой волны, Мелисса постаралась припомнить все, что говорили земные матери, CD-диски для медитации, преподаватели на курсах по подготовке к родам, книга по йоге для беременных,

<sup>2</sup> ВРПКС – вагинальные роды после кесарева сечения.

которую подарила Кэрл, и позволила своим *ощущениям* – это была не боль, а *ощущения* – мягко вывести ее к дому ужасов, который ей не вполне удавалось воспринимать как благословенный безмятежный берег, приятную... *спокойную... прогулку... вдоль кромки... тихой воды*. Она покачивалась, тихонько постанывала, дышала в ритме того, что вот-вот случится, и каждое призрачное сжатие было негромкой песней, каждое вздымание и опадание – спуском и подъемом в тумане вместе с дыханием. Мелисса представляла себе этого беспомощного, безобидного маленького детеныша, которому тоже было очень страшно. Только вообразите, каково это (писала одна из земных матерей на вкладке к диску): быть этим крошечным созданием, плавать в обволакивающем тепле надежной темноты, – как вдруг воды начинают трепетать и содрогаться, и теперь тебе грозит колоссальный, тяжкий переход в *мир*, в шумный, суматошный, колючий *мир*. Разве вы не испугались бы? Разве не захотели бы остаться на месте, не сопротивлялись бы изо всех сил? Если мать и дитя едины в общем сознании, если между ними существует взаимопонимание и эмоциональная связь, то переход окажется легче, утверждала земная мать. И Мелисса старалась покрепче держать это в уме и в сердце: этот страх, эту дилемму беззащитного детеныша, – в то время как *ощущения* распространялись повсюду от невидимого центра, вниз по ногам, вокруг бедер, ошутимее всего по спине, где словно образовалась жесткая металлическая пластина. Мелисса постанывала и шумно дышала ртом. Она по-слоновьи шагала взад-вперед, слушая Джеба Лоя Николса, думая о приятных вещах, которые произойдут позже, например, как она снова сможет заниматься зумбой или носить восьмой размер. План состоял в том, чтобы самостоятельно справляться с *ощущениями* в домашней обстановке, пока они не станут «слишком сложными», требуя участия врачей. Младенцам не нравятся больницы, утверждали земные матери. Там сплошь щипцы, вредный стресс и преждевременные вмешательства, так что подобных заведений следует избегать как можно дольше.

Но к обеду Мелисса уже считала, что больницы не так уж и плохи. Она явно уже на подходе, несколько сантиметров уже взяты, а какие ощущения! Майкл успел вернуться с работы и теперь бросал на нее робкие любящие взгляды, собирая сумки. Но он находился по другую сторону разлома: далекий друг, необходимый, но бесполезный. Оттуда, с той стороны, он видел ее величие, ее расцвет. Она была тот дом, где заключалось их будущее, она была дарительница жизни, могучая лавина. Он и боялся ее, и жалел одновременно.

– Напомни, чтобы я не садилась с тобой в машину, когда у меня в следующий раз начнутся схватки!

Майкл переезжал через «лежачих полицейских», словно пьяный. Он страшно нервничал, притом что терпеть не мог водить даже в спокойном состоянии. Мелисса поглубже отодвинула пассажирское сиденье: поднималась очередная волна. Она вцепилась в раму окна, за которым проносился веселый летний ветерок, выли дневные сирены Южного Лондона, где-то далеко позади маячили башни. Они добрались до Камберуэлла, припарковались на глухой улочке, потому что на больничной стоянке мест не было, и Мелисса, поддерживаемая под руку Майклом, поковыляла вперевалку в зловещее здание с зеркальными окнами и раздвижными дверями, и там врач-индианка с грустными глазами сообщила, что пора пройти в родильную палату. Они поднялись на лифте на четвертый этаж и уселись в приемной рядом с еще двумя женщинами, сотрясаемыми лавиной. Странно, что приемные в такие моменты – всего лишь приемные, не больше: торговый автомат, журналы на столике, плакаты на темы домашнего насилия и кормления грудью, – что женщины в столь экстремальных обстоятельствах все сидят вместе и ждут в обычной комнате с неудобными креслами – четырехугольной, а не в форме матки.

– Я хочу домой, – сказала Мелисса.

– Мелисса Питт! – позвал кто-то.

Из коридора вышла женщина в голубой полотняной шапочке и белом врачебном комбинезоне. Она возникла, словно фрагмент кошмара: выбившиеся из-под шапочки белые волосы,

усталое розовое лицо, один глаз выше другого и безжалостная походка, равнодушный топот, словно за долгие годы акушерства она растратила все свои запасы сочувствия и теперь для нее все это – просто привычная, будничная работа.

– Заходите, – распорядилась она.

Майклу велели остаться в приемной, словно он не имел никакого отношения к происходящему, а Мелисса неохотно последовала за седой ведьмой. Та протопала по коридору в палату и оставила ее там, за бледно-голубой занавеской возле каталки, алюминиевой раковины и аппарата с проводками.

– Скоро к вам кто-нибудь подойдет, – сказала акушерка и ушла.

«Скоро» растянулось на пять минут, потом на десять. Между тем *ощущения* нарастали. В коридоре две чрезвычайно расслабленные женщины переговаривались друг с другом.

– Кто-нибудь придет? – спросила у них Мелисса. – Хоть кто-нибудь? Мне сказали, что сейчас кто-нибудь придет, но никто не пришел. У меня схватки.

Обе санитарки родильной палаты явно привыкли к подобному бессвязному бормотанию, к подобной тревожности. Вдвоем они стали гадать, кто же должен прийти. Обе скучали, обеим возмущенным продолжательницам давней традиции пополнять штат государственных больниц за счет иммигрантов с Карибских островов слишком мало платили.

– Сегодня большая загруженность, – сообщила одна. – Скоро к вам кто-нибудь подойдет, не волнуйтесь.

Мелисса вернулась в свой угол, где обнаружила, что *ощущения* кажутся слабее, если склоняться над каталкой и сжимать голову ладонями, когда накатывает очередная волна. Всплески делались все мощнее, все труднее было удерживаться на гребне. Прошло еще десять минут, и наконец чья-то рука плавно отвела занавеску, и появилась женщина в голубом халате – симпатичная и с добрым лицом.

– Здравствуйте, – ласково произнесла она. – Меня зовут Памела. Как вы тут?

Вопрос прозвучал довольно нелепо. Мелисса повторила, что хочет домой. Памела улыбнулась, подтащила аппарат с проводами и принялась их распутывать.

– Ну, давайте сначала проверим, безопасно ли это для вас – отправиться домой, – проговорила она и посмотрела в свою папочку. – О-о. У вас ВРПКС. Думаю, вряд ли вы сможете отправиться домой, если у вас ВРПКС. Это опасно.

Она измерила раскрытие: всего полтора сантиметра. Значит, это правда, подумала Мелисса. Снова будет как с Макдуфом. Ей хотелось плакать.

– Просто ложитесь на спинку, – попросила Памела.

Она подняла концы проводов и взяла резиновые присоски, с помощью которых отслеживают волны. Лечь – это было хуже всего. Лежать на спине, пока волны яростно проносятся вверх и вниз по твоему телу. Но Памела настаивала, и Мелисса позволила прикрепить резиновые присоски к животу, когда начался очередной всплеск. Волны все убыстрялись и убыстрялись. Мелисса напряглась и постаралась быть земной матерью, но теперь это стало почти невозможно, особенно в таком положении. Памела сказала, что скоро вернется, и какое-то время Мелисса просто лежала, а волны все накатывали и отступали, устраивая целые представления, радуясь новой горизонтальной стадии, распевая торжественные гимны, закручиваясь в воронки и образуя глубинные течения. На это время она и думать забыла о чувствах детеныша. Земные матери вспыхнули и сгорели. Нахлынула гигантская волна, приноровиться к которой Мелиссе не удалось, так что она слезла с каталки и принялась сдирать провода с живота. Тут снова появилась Памела.

– Что вы делаете?

– Я уйду домой. Всё. Хватит. Это невыносимо.

– Послушайте, но почему вам так хочется домой? – спросила Памела. – Большинство женщин так трудно отправить домой, они хотят подольше оставаться в больнице, где безопасно. А вы вот хотите уйти. Почему?

– Потому что мне там *комфортнее*. Пожалуйста, просто снимите с меня эту штуку!

Мелисса дернула за провода и чуть не опрокинула аппарат. Снова пришли *ощущения*, и она со стоном наклонилась вперед. И вот тогда Памела посуровела. Она уже не была ласковой. Она обрушилась на Мелиссу со строгой, властной твердостью.

– Слушайте, – произнесла она, – давайте-ка я вам кое-что объясню. Вам опасно сейчас ехать домой, потому что у вас может произойти разрыв, и тогда вы истечете кровью и умрете. Вы понимаете, что я вам говорю? Мы не сможем вас спасти, если что-нибудь случится. К нам тут на прошлой неделе поступила женщина – у нее произошел разрыв прямо в приемной. Дома она бы, скорее всего, умерла. У другой женщины случился разрыв, когда она была дома, и умер ребенок. Да-да. Но если вы правда хотите домой, я могу вас сейчас же выписать – если вы и правда этого хотите. Я бы настоятельно рекомендовала, чтобы вы остались здесь. Но решать вам.

В свете новых аргументов Мелисса покорила. Она отказалась от мечты о постепенном раскрытии в их кособоком домике. Следующую ночь она провела в сумрачном омуте предродовой койки, окруженной занавесками, делая долгие вдохи из цилиндра с газом и воздухом и отчаянно цепляясь за шею Майкла. Как она нуждалась в нем тогда. Как любила его. Он был весь сила и спасение. С теплой грудью, крепкий, высокий. Снова и снова, дыша лекарственными парами, она твердила ему, что любит его, – твердила опьяненно, настойчиво – только это она осознавала отчетливее всего. К четырем утра она окончательно распрощалась с мыслями о ВРПКС. Она хотела, чтобы ее разрезали. Апофеоз женственности сделался неинтересен, и немного позже ее на каталке ввезли в операционную.

Майкл шагал рядом с ней в голубом больничном комбинезоне, среди целого моря ассистентов. Все были в зеленых шапочках.

В операционной воздвигли временную ширму между почти-матерью и ее животом – чтобы она ничего не видела. Ей было видно, лишь как мелькают острые кончики инструментов.

Щелканье и звяканье скальпелей и ножниц. Серебристые лезвия, сверкнув под ярким светом, делают надрез.

И вот – ребенок, внезапно поднятый чьей-то рукой, словно мокрый мешочек.

– Большой мальчик, – заметил кто-то.

Майкл поднес его поближе, чтобы Мелисса могла посмотреть. Крошечное личико, обернутое белым. Сладенькое бежевое личико. Под одеяльцем он оказался ярко-розовый и желтоватый, розовее всего – в ямке между лопатками, желтее всего – на подошвах ступней, длинных, с длинными пальцами, один из которых завернулся внутрь от тесноты в последние месяцы. Кривоватые и косолапые ножки. А еще – длинные руки, извивающиеся, танцующие, словно задуманные как крылья. Глянцевитые черные волосы с золотистой прядкой на затылке, прямо над шеей. Темно-синие глаза, плавно скользящие туда-сюда, словно хрустальные шарики. Беспокойный взгляд. Рот шестиугольником – когда плачет. Ее отпрыск, ее продолжение. Она посмотрела на него, и исчезло все, кроме любви.

Они повезли его домой воскресным утром. Над Камберуэллом стелился беззвучный и серый день. Обрывки туч тянулись на запад. Воздух шелковился на щеках, и Мелисса заплакала прямо на широких ступенях больницы, потому что поняла: вот та жизнь, которой она отныне будет жить, – этот мужчина, этот мальчик, эта девочка, – и теперь уже ничего существенно не изменится. А еще потому, что она принесла это новое дыхание, это маленькое сердце в такое большое и опасное место. Они отвезли младенца в свой домик на Парадаиз-роу. На стене в главной спальне Мелисса повесила красное деревянное сердечко, а под ним стояла люлька. С младенцем. Затем последовали две недели, полные того особенного волшебства, которое

окружает новорожденного. Две потусторонние недели, когда сам воздух поет колыбельные, и вы всё смотрите и смотрите на складочки и гримаски этого маленького лица и вместе засыпаете вокруг вашего спящего детеныша, словно причудливые завитушки, словно скрипичный ключ.

– Мне кажется, началась новая стадия моей жизни, – призналась она Майклу, стоя у окна.

– Да, понимаю, – отозвался он.

На следующей неделе из пьесы изъяли одного из ключевых героев – Майкл вышел на работу.

\* \* \*

До рассвета оставалось еще несколько часов. Они закрыли за собой калитку и вошли в дом, который после пышности вечеринки казался меньше и уже, чем обычно. Мелисса шла впереди – по узкому коридору, где два человека не могли идти бок о бок. По пути она сбросила свои зеленовато-желтые сандалии. Ей хотелось спать. Ей не хотелось длить музыку в мягкой тиши простыней, в то время как за окнами разгорается свет и поют птицы. Но она чувствовала желание Майкла, его особую серьезность. Он проследовал за ней на кухню, где Мелисса решила заварить чай. Ромашковый, чтобы лучше спалось.

– Тебе налить? – спросила она.

– Нет, спасибо.

Он предпочел бы бренди – поздний сладкий праздник, в пустом доме, где не мельтешат маленькие ручки и ножки, где рано поутру никто не просит хлопья. Майкл взял бутылку с винной полки, которой пользовался только он, и наполнил себе бокал. И в свою очередь предложил налить Мелиссе. Зевая, она покачала головой, и он недовольно прислонился к квадратной раковине. Под их ногами источал тепло пол цвета паприки. На холодильнике висело семейство Обама в виде магнита, дразня их своим возмутительным совершенством и успехом; длинные руки Мишель обнимали девочек, Барак победоносно улыбался. Вокруг располагались магниты попроще: школьная награда Риа за хорошее поведение за обедом; самодельный серебряный Санта-Клаус; легкомысленная жалоба прописными буквами: «ВЧЕРА БЫЛ ПРОСТО АД, И СЕГОДНЯ УЖЕ ТОЖЕ!» – Майкл каждое утро соглашался с этой максимой, собираясь на работу. У него была стабильная, солидная должность: менеджер по корпоративной социальной ответственности в управляющей компании, – хотя когда-то он намеревался стать радиоведущим. Со своим остроумием и мелодичным голосом Майкл был просто создан для этой работы. Но он не продвинулся дальше пиратских станций: а потом понадобились деньги. Иногда он завидовал свободному графику Мелиссы, ее творческой профессии (она писала статьи для модного журнала). Он глотнул чудесного, согревающего бренди и предложил ей массаж.

– Мм... Ну может быть, – отозвалась она.

Но Мелисса была не любительница массажа, Майкл знал это. Рефлексотерапия, джакузи – все это не производило на нее никакого впечатления. Она предпочитала активность: бег, плавание, йогу. За ее узкими плечами и тонкой шеей таилась физическая сила. Мелисса была вся энергия – и телом и духом, в то время как Майкл был по природе расслабленным и небрежным. Он предпочитал сидячую жизнь и пассивную роль принимающего. И любил джакузи. В этом заключалось одно из принципиальных различий между супругами.

Когда чай был готов, Мелисса прошла сквозь неудачные двойные двери в ванную. Там было страшно холодно, несмотря на подогрев плитки цвета паприки, к тому же громко гудел вытяжной вентилятор: возникало ощущение, что находишься внутри электрогенератора. Панель, идущая вдоль ванны, расшаталась и начала отходить. Вытерев лицо, ровно в тот момент, когда она открыла глаза и отвела полотенце, Мелисса вдруг увидела, как что-то ползет по этой панели, вверх по ее вертикальному краю, прилегающему к стене. Оно дерну-

лось, странно сверкнуло коричневым и скрылось в щели над панелью. Это была мышь, крупная мышь.

– Черт! – воскликнула Мелисса.

– Что такое?

– Там под ванной мышь.

– Что?

– Я серьезно, я ее видела. Она вон туда пролезла. – Мелисса показала.

– Ты уверена? – спросил Майкл.

Она уже отступила в зону столовой и теперь переминалась с ноги на ногу.

– Та женщина сказала, что мышей тут нет. – Она имела в виду Бриджит. – Я ее спрашивала. Она сказала, тут нет мышей.

– Придется кого-нибудь вызвать. – Майкл почувствовал раздражение, оттого что мышь явилась крайне не вовремя, и в то же время тревогу, которую твердо решил не выказывать. Он терпеть не мог эту гадость. Он ими брезговал. – Вообще-то я думал, что в наше время женщинам не положено бояться мышей, – шутливо заметил он, глядя, как она торопливо семенит к лестнице. – Считаю себя феминисткой.

– Я не феминистка. Я женщина.

– Ну конечно, я знаю. – И он вопросительно-робко посмотрел на нее, интимным взглядом, одновременно несчастным и решительным. – Не уходи. Подожди меня.

Но она ушла вместе со своим чаем, взвинченная и оцетинившаяся. Оказавшись наверху, она переделалась в хлопковую ночную рубашку белого цвета – подарок ее матери, Элис, на тридцать восьмой день рождения. В ней было удобно. Мелиссе нравилось прикосновение к коже прохладной хлопчатой ткани. А Майкл постарался как можно быстрее провести ежевечернюю проверку. В частности, следовало посмотреть на плитку, чтобы убедиться, что она выключена; закрутить краны в ванной до упора, чтобы точно не случилось наводнения; подергать за оконные ручки, проверяя, что окна закрыты; и наконец – снять и снова накинуть цепочку на входную дверь и запереть ее. Каждый вечер, лишь сделав все это, он поднимался по ступенькам и шел к кровати – зачастую тяжелой поступью человека, измученного целибатом, но сегодня – пружинистым шагом сильного мужчины, и Мелисса, как он надеялся, почувствует это, ожидая его (возможно, в том пеньюаре кофейного цвета, что он подарил ей), и придет в возбуждение. Он был чрезвычайно разочарован, когда, пройдя под потолочным окном и повернув к спальне, заметил промельк ее наготы, но всполох соблазнительного смуглого бедра тотчас скрылся под длинной, чопорной ночной рубашкой.

– Пожалуйста, не надевай это, – попросил он.

– Почему?

Ему так и хотелось заорать: неужели ты сама не знаешь почему? Неужели ты не понимаешь, что у нас есть важное и неотложное дело? Разве ты со мной не заодно?

– Потому что она скрывает твою красоту.

– А вот и нет. – Мелисса надела бандану, затянула ее завязки. Она отлично понимала: именно ей придется в конце концов что-то решать насчет мыши, кого-то вызывать. Всех всегда вызывала она. Когда Майкл по утрам покидал дом, отправляясь на работу, он мгновенно забывал обо всех внутренних механизмах и о здоровье этого королевства, и Мелисса становилась его единственным правителем. – Она скрывает *твою* версию моей красоты, – уточнила она с некоторым ехидством. – А эта версия очень примитивна по сравнению с моей. Я тебе не нравлюсь такой, какой я нравлюсь сама себе.

Последовала тишина.

– Ты точно разберешься с мышью?

– Ну да.

– И еще нам надо починить окно, тут страшно холодно.

Через самое левое окно в спальню проникали ледяные зимние сквозняки: раму повело. Насыщенно-красные стены, мягкий свет из-под абажуров, лунное сияние, струящееся сквозь бамбуковые жалюзи на покрывало цвета кофе с молоком, – все это подразумевало более теплую атмосферу, так что комната казалась какой-то недоустроенной. Столетние половицы скрипели под их ногами, стоило пройти от кровати к платяному шкафу, что неприятно аккомпанировало холоду. И отсутствие Блейка, детеныша, в эту его первую ночь вне родного дома лишь усиливало чувство неуюта, владевшее Мелиссой. Ей не хватало его – его крошечного присутствия, его тихого частого дыхания.

– Надеюсь, у него все в порядке, – произнесла она.

– У кого?

– У Блейка, кого ж еще.

К чертям Блейка, подумал пенис Майкла. К чертям окно. К чертям мышь.

– Все у него прекрасно.

– Откуда ты знаешь?

Мелисса не рассказывала Майклу, как однажды проснулась среди ночи от какого-то шороха – три месяца назад, Блейку тогда было шесть недель. Какие-то приглушенные звуки раздробили ее сон. Она открыла глаза, посмотрела на люльку и увидела, как ступни и колени Блейка бьются изнутри об одеяло, которое закрыло ему все лицо. Мелисса в панике вскочила с постели и сорвала одеяло. И решила, что это дурное предзнаменование.

– Ты слишком уж переживаешь, – сказал Майкл. – Расслабься, дружок. Разве не здорово оказаться только вдвоем? Может, забудем про детей хоть на одну ночь? Это наше время. Давай получим удовольствие.

Он снял рубашку. Мелисса исподтишка наблюдала за ним. У него были широкие плечи баскетболиста и тонкие руки. Где-то внутри его, рядом с сердцем, горела подсветка в форме бумеранга, и внутреннее сияние делало кожу в этом месте чуть более желтой. А в области поясницы тянулись полоски такого же бледного оттенка, выделявшиеся на темном фоне, – как будто в прошлой жизни его секли плетью. Красота Майкла была неочевидной. Скрытной. Она являла себя внезапно, словно солнечные пятна в листве: отблеск света в выемке между ключицами, когда он расстегивает ремень возле шкафа, сведя руки, опустив голову, весь – здесь. Сверкающая белизна еще одного бумеранга – его улыбки, – когда они только познакомились. И густые брови, и все еще молодые глаза, лишь слегка тронутые горечью жизни. Мелиссу по-прежнему поражала эта внезапная, чрезмерная красота, спрятанная за его мальчишеским обликом. И теперь эта красота проступила снова, когда он склонился к кровати, складывая джинсы, – мощные плечи, готовые стиснуть и смять. Мелисса ощутила порыв давнего чувства, животную тягу к нему. Ее пронзила раскаленная молния любви.

– Завтра же воскресенье, – улыбнулся он. – Можем проспать хоть весь день, если захотим.

Он извлек из шкафа вешалку и перекинул джинсы через перекладину, ободренный смягчившимся лицом Мелиссы, ее особенным взглядом. Она улеглась на спину, в некотором ожидании. Майкл повесил джинсы на штангу в шкафу. Штанга была хлипкая, ее тоже не мешало бы починить. Уже дважды она обрушивалась, превращая его одежду в кучу тряпок на полу; и, когда Майкл повернулся к своей утонченной женщине, распростертой на постели, готовый наброситься на нее, штанга с бестактной и немилосердной бесцеремонностью вздумала проделать это снова, – и все его брюки, рубашки, пиджаки и джинсы вывалились на пол. Майкл выругался.

– Почему сейчас? – сказал он. – Почему, черт дерь, именно сейчас?

– Ее нужно *починить*.

– Не могу же я сейчас ее чинить!

– Я не говорю – сию минуту. Я имею в виду – *когда-нибудь*.

Мелиссе стало его жалко. Она смотрела, как он идет к большой кровати, раздосадованный стоном половиц под ногами. Его бесила валявшаяся одежда, неопрятная куча, ожидавшая утра, но, хоть это его отвлекло и взбесило, он не собирался позволить шкафу, предполагаемой мыши или сквозняку нарушить его планы. Полностью раздетый, если не считать нижнего белья (тщательно подобранного перед вечеринкой и призванного туго обтягивать и выгодно подчеркивать), он поднял одеяло со своей стороны кровати и подобрался к Мелиссе. Оба чувствовали, что момент упущен, что для его возвращения потребуется много усилий, а было уже так поздно, – действительно начинали петь птицы; но последней у человека умирает надежда.

– Иди-ка сюда, – пробормотал он и понюхал ее шею.

Шея Мелиссы перестала пахнуть курятиной лет семь назад, и теперь просто пахла маслом ши, которым она мазалась. И все-таки Майкл искал тот давнишний запах, царапая ее щетиной. Мелисса почесала шею. Он попытался не обращать на это внимания. Она высвободила шею, вывернувшись как кошка и тогда он двинулся вниз, поближе к ее вырабатывающей молоко груди, так что он в общем-то не мог ее сосать, сохраняя хоть долю самоуважения, но какая к черту разница.

– Лучше не надо, – сказала Мелисса.

Ляжкой она ощутила, как он твердеет, и ее охватила досада, оттого что она с этим обязана что-то делать. Но сейчас у нее было не то настроение. Ее корбило не только то, что Майкл решил припасть к ее млечным берегам, но и то, что он начал слева. Он всегда начинал слева. Ее расстраивало это однообразие, эта лень и отсутствие изобретательности.

– Я устала, Майкл.

– О, не будь усталой, – сказал он.

Она снова легла на спину, ее рука вяло обвилась вокруг его шеи. Он поцеловал ее в живот. Но он чувствовал, как она словно бы отступает от него. Сейчас она была не с ним. Какое-то время он продолжал попытки, надеясь призвать ее к себе. Но потом, не видя ответа, отступил. Нет, не будет у них сегодня ночью никакой любви. Майкл убрал руки и грустно поплыл в сон. В небесах над районом Белл-Грин кружил вертолет. Промчалась одинокая сирена. Посреди обширного участка земли на вершине холма Вествуд-Хилл высилась Хрустальная башня, светясь красным.

Дворца не было. Он долго и неуклонно разрушался, покуда в 1936 году не сгорел дотла.

## 2

### Дэмиэн

– Дэмиэн! – позвала Стефани с лестничной площадки. – Ты не знаешь, где лиловая простыня на резинках?

Он был на кухне, в пижамных штанах и халате; в кармане у него лежала одинокая и рассохшаяся «Мальборо лайт», которую он только что с несвойственной некурящим радостью обнаружил в самом дальнем углу навесного шкафчика. Дэмиэн уже готов был ее закурить – убедив себя, что это вполне нормально после одиннадцати месяцев воздержания. Он жалел, что, перед тем как бросить, не сумел в новогоднюю ночь как следует насладиться той Самой Последней в Жизни. Он был тогда слишком пьян. Единственный действенный способ откаться от этой мерзкой и дорогостоящей привычки – выкурить тонну сигарет за раз, накуриться до тошноты (что он и сделал), а потом торжественно взяться за последнюю, с мрачной и скорбной сосредоточенностью, набираясь сил и решимости, чтобы последняя затяжка действительно обозначила собой точку (а вот этого он не сделал). Не получилось никакого прощания, никакого поклона, никакого занавеса, и это мешало Дэмиэну по-настоящему начать некурящую жизнь. Так что сейчас он позволит себе эту последнюю. Она явно предназначалась ему судьбой. Все это время она поджидала его здесь, за вазами, как раз ради такого вот утра, когда он проснется несчастным, слабым, подавленным и неудовлетворенным. Единственная проблема состояла в том, что он никак не мог найти, чем прикурить. После долгих алчных и раздраженных поисков он решился использовать для этой цели кухонную плиту и уже открыл было заднюю дверь, готовясь удрать в сад, как только зажжет сигарету. На улице шел дождь, но это его не останавливало.

– Дэмиэн?..

С огромной неохотой он двинулся в противоположном направлении, к коридору, отправив сигарету обратно в карман и продолжая ее поглаживать. Почему Стефани именно сейчас понадобилось спрашивать о какой-то простыне? Почему он на ней женился? Почему он живет на окраине Доркинга?

– Что там? – бросил он.

Стефани стояла на лестничной клетке в своей обычной для субботней уборки одежде: тренировочные штаны, мокасины, футболка с надписью «Я люблю Мадрид», без лифчика, из-под сине-белой косынки выбиваются жидкие каштановые волосы. Без макияжа. В такие моменты Дэмиэн каждый раз недоумевал: как охотно его жена подыгрывает собственному увяданию. Непонятно откуда возникла вдруг мысль: вот Мелисса, наверное, убирается с накрашенными губами, с сережками в ушах, в симпатичном топе – совсем другое дело. Понятно, что испытывает Майкл, когда видит ее такой.

– Я на прошлой неделе купила в «Би-Эйч-Эс» лиловую простыню. Убрала ее в сундук. А теперь она куда-то пропала, – сообщила Стефани. – Она была с резинками. Натягиваешь их на углы матраса, очень продуманная эластичная вещь, спину не надо ломать, чтобы подоткнуть простыню.

Сварливость в ее голосе имела несколько причин. Во-первых, Стефани совсем не понравился *его* тон, ее словно выставляли какой-то назойливой занудой, в то время как она говорит о необходимом поддержании быта и порядка в их общем доме. Во-вторых, этот тон свидетельствовал о том, как Дэмиэн в последнее время стал к ней относиться – с досадой, безразличием, даже пренебрежением, – что, как объясняла себе Стефани, связано с недавней смертью его отца. Похороны были всего месяц назад. Она старалась проявлять терпение и понимание, но все это начинало беспокоить: что он бесцельно слоняется по дому, практически не обращает

внимания на детей и нарочно ложится спать значительно позже, чем она, а встает раньше (в частности, вчера вечером и сегодня утром), чтобы им не приходилось *общаться* друг с другом по-настоящему, а стоит спросить, что случилось и не хочет ли он об этом поговорить, он отвечает, что все в порядке, хотя это явно не так. А в-третьих, она терпеть не могла, когда что-то в доме перекладывали без ее ведома. И еще в-четвертых: она ненавидела заправлять простыни, особенно под этот нелепый громоздкий матрас, на покупке которого настоял Дэмиэн, потому что он дешевле, чем пенополиуретановый, который хотела купить *она*. И сейчас Стефани готовила простынную модернизацию: скоро на каждом матрасе в доме будут простыни на резинках; и если на нее огрызаются за то, что она пытается воплотить в жизнь свою маленькую утопию, что ж, – пусть Дэмиэн и лишился отца, – сочувствовать ему она не будет.

– Никакой лиловой простыни я *не видел*, – ответил он. – Я вообще не понимаю, о чем ты.

– Этот дом, – резко сказала Стефани, многозначительно обводя рукой потолок, стены, буфеты и пластиковые окна, просторную лужайку и простирающиеся за ней Суррейские холмы, – это общая территория, Дэмиэн. Ты понимаешь, что это значит? То есть мы все живем тут *вместе*, и ты, и я, и наши дети, да? У тебя их трое. Их зовут Джерри, Аврил и Саммер. Меня зовут Стефани, мы с тобой женаты, а у женатых людей принято разговаривать друг с другом, рассказывать о своих проблемах, если их что-то беспокоит.

Стефани чувствовала, как сама все больше расстраивается. Этот саркастический тон она усвоила в детстве, наблюдая, как ее старшая сестра-подросток спорит с матерью; но за собой стала его замечать – и довольно часто – лишь выйдя за Дэмиэна. И все же по отношению к Дэмиэну это было неправильно. Слишком жестоко. Он смотрел на нее снизу – грустно, неприязненно и слегка озадаченно. Стефани стало его жалко, но она все-таки продолжила:

– И если тебя что-то беспокоит, а я знаю, что так и есть, то сейчас самое время выложить это и поплакаться мне в жилетку, мистер, потому что если ты и дальше будешь вот так вот уныло бродить по дому, то я, честное слово, свихнусь. Я понимаю, тяжело потерять отца. Я знаю, что буду то же самое чувствовать, когда... если... когда мой папа... даже думать об этом не хочу, но... Дэмиэн, да *поговори* же ты со мной!

Теперь она уже плакала – не рыдала, это было ей несвойственно, но в глазах у нее стояли слезы, плечи поникли в мольбе. Дэмиэн почувствовал, что ему надо бы ее утешить, и это его раздосадовало еще больше. Он все еще думал о своей сигарете, все еще ощущал тот момент, когда собирался ее закурить. За парадной дверью слышался шум дождя, и Дэмиэн представлял себе, как дождь идет и за задней дверью, там, где поджидает она – Последняя. Он будет смотреть в небо, будет выпускать дым в воду, и на некоторое время его покинут все чувства, все обязательства, вся пустота, и он сам станет воплощением пустоты. В попытке вернуться в этот недолговечный рай Дэмиэн поставил одну ногу на нижнюю ступеньку лестницы в знак сочувствия, и Стефани, заметив это, спустилась на две ступеньки – проявляя большее великодушие, чем он, поскольку с психологическим здоровьем у нее все было более или менее в порядке. Ему полагалось что-нибудь сказать.

– Послушай, Стеф, у меня все нормально.

В ней снова зрел едкий ответ, но она решила потерпеть.

– Не расстраивайся. Прости меня. Я знаю, я сейчас такой... немного отчужденный. Это просто из-за работы и всяких таких вещей. И насчет Лоуренса я не переживаю, честно. Тут вообще ничего особенного нет.

– Ты хоть понимаешь, что это звучит безумно? Как тут может не быть ничего особенного?

Стефани казалось странным и отчасти ненормальным, что Дэмиэн называет своего отца по имени. Она никогда не слышала, чтобы он говорил о нем иначе. Сама она видела «Лоуренса» лишь несколько раз: однажды – на совместном ужине в лондонском Саут-Банке, в начале их с Дэмиэном романа, позже – на свадьбе. Лоуренс произвел на нее впечатление холодного, немногословного, немного надменного и не особенно счастливого человека.

– Вот представь себе. – Дэмиэн снова заговорил брюзгливым тоном. – Мы не были близки. Я не убит горем. Ты же знаешь, что мы не были настолько близки.

– Да, я знаю, что вы не были настолько близки, но все-таки это твой *papa*.

Секунду она разглядывала мужа, словно тот сидел в аквариуме, и поняла, что конструктивно этот разговор не завершится. Дэмиэну надо дать побольше времени. Она высказала то, что следовало высказать, испытала некоторое облегчение и теперь вернется в свой обычный субботний день, который, закончив уборку, проведет в великолепном и всепоглощающем общении с детьми. Следовало сделать кораблик из ирисок, до конца собрать пазл с изображением Букингемского дворца, посетить урок плавания, а еще – ах да, точно! – съездить вечером в гости к Майклу с Мелиссой, чтобы поглядеть на их младенца. Мысль о напряженной поездке в Лондон вместе с Дэмиэном радовала не очень. Подарок она уже купила (упаковку комбинезончиков на шести-девятимесячных, стопроцентный хлопок), но с этим, возможно, лучше подождать.

– Ты уверен, что хочешь в гости? – спросила Стефани. – Может, откажемся?

– Нет.

– Что значит «нет»? Ты не уверен? Или не хочешь, чтобы мы отказывались? Они же твои друзья, а не мои. Так что мне все равно.

– Нет, мы пойдем, – сказал Дэмиэн. – Я в порядке.

– Ты в порядке.

– Да. В порядке.

– Ладно. В порядке. Как скажешь. – Стефани в раздражении подняла брови, всплеснула руками и пошла обратно наверх. Она не позволит Дэмиэну испортить ее день. Человек имеет право на счастье. – Просто помни, что я рядом, если вдруг я тебе понадобится, – сказала она по пути. – Не отстраняйся от меня. Ну, и все такое прочее. А я пойду поищу эту простыню. И пожалуйста, не забудь сегодня вымыть ванные.

Дэмиэн смотрел, как она уходит. Чувствовал он себя паршиво. Возбуждение, возникшее при мысли о сигарете, несколько остыло, но он все равно ее выкурит. Он вернулся на кухню, включил плиту – и обнаружил, достав сигарету из кармана, что та сломалась от его поглаживаний. Прямо возле фильтра виднелась прореха – в самом ответственном и неоперабельном месте. У него даже не было папиросной бумаги, чтобы сделать самокрутку. Навесной шкафчик давным-давно очистили от всех намеков, от всех искушений, за исключением этой случайной оплошности. Закрывать никотиновый гештальт не получилось. И Дэмиэн винил в этом лично Стефани.

\* \* \*

Дэмиэн познакомился со Стефани на благотворительной конференции в Ислингтоне. В то время они оба жили в Лондоне. Он был инспектором по предоставлению жилья в районе Эджвер (его первая работа после окончания университета), а она служила в НОЗДЖ<sup>3</sup>, в отделе фандрайзинга. Она была высокая, крепкая и скромная; не совсем его тип – в том смысле, что она не походила на Лизу Боне, Чилли из группы *TLC* или Тони Брэкстон, – но цельная и по-своему привлекательная, нечто среднее между Кейт Мосс и Элисон Мойе. Кроме того, у нее имелось качество, которым не обладал сам Дэмиэн: умение быть довольной, – и это действовало на него успокаивающе. Она выросла в Лезерхеде, небольшом городке на севере Суррея. Ее отец, Патрик, бывший диспетчер транспорта, теперь владел магазином растений и садовой мебели, расположенным возле трассы А24 по дороге к Хоршему. Магазином он занимался вместе со своей женой Вереной, матерью Стефани, наполовину итальянкой. Верена ведала бух-

---

<sup>3</sup> НОЗДЖ – Национальное общество защиты детей от жестокости.

галтерией и административными вопросами, а Патрик отвечал за маркетинг и связи с клиентами. Он очень серьезно вкладывался в рекламу. Возле шоссе А24, примерно в трех минутах езды от магазина, располагался гигантский щит с надписью: «Вы только что проехали крупнейший садовый центр Британии. Самый широкий выбор британских и экзотических саженцев, плетеной и садовой мебели». Патрика не очень заботило, действительно ли его магазин – крупнейший в Британии, потому что тот правда был огромный и, возможно, крупнейший среди несетевых магазинов, во всяком случае среди магазинов, расположенных вдоль трассы на букву «А». Патрик всегда говорил, что в рекламном деле есть множество лазеек, так что ты можешь утверждать практически что угодно. В юности, прежде чем стать транспортным диспетчером, Патрик какое-то время работал в рекламной сфере. Он частенько рассказывал эту историю, побуждаемый слабым, безвольным выражением на лице зятя, – Патрику так и хотелось двинуть ему по зубам со словами «Да соберись же ты, парень!», но вместо этого он рассказывал историю:

– Я много лет работал в рекламе, пошел туда прямо из колледжа. Поначалу думал, что это, извините за выражение, лабуда. Но потом, знаете, втянулся. Столько есть способов, чтобы повлиять на людей. Все эти знаки и символы – они же повсюду вокруг нас. Каждую минуту они нас подталкивают, увлекают, соблазняют, мы просто этого не замечаем. Мы думаем, что мы умнее, а не так. Я много раз говорил Верене, – правда, Ви? – люди очень часто чувствуют себя несчастными именно из-за того, что думают, будто им надо жить вне заданных рамок. Считают себя лучше окружающих. Хотя на самом-то деле мы оказываемся там, где оказались, в полном соответствии с нашими способностями и потенциалом. Я был чертовски неплохой рекламщик, и ты, я уверен, чертовски неплохой жилинспектор...

Это было в прошлое воскресенье у них в гостиной: ежемесячный сеанс запекания мяса и распекания зятя.

– Руководитель исследовательского проекта, – уточнил Дэмиэн (далеко не в первый раз). – Я изучаю воздействие солнца на обширные стеклянные поверхности многоэтажных квартирных комплексов. – Ему никогда не удавалось сократить это название: каждое слово представлялось существенным. – Но начинал я как жилинспектор.

– И сделал карьеру. Это хорошо. Да. Это хорошо. И звучит так интересно, правда, Ви?

– Просто *очень* интересно. Экология. Важные вещи... – согласилась Верена.

– Так и есть. Очень важная работа, – вставила Стефани. – Я ему все время это твержу.

– Уверен, что это так. Уверен. – Патрик застегнул пуговицу своей розовой рубашки. –

И ты наверняка отличный работник, как и я был в рекламе. Но мне всегда хотелось иметь собственный бизнес, быть хозяином самому себе, повелевать своим царством и все такое. И если бы я не провел все эти годы в рекламе и в транспортном деле – оно мне тоже принесло пользу, – я бы, простите за банальность, не добился бы того, чего добился. Правда, Ви?

– Не добился бы. Правда, Стеф?

– Нет, пап. Не добился бы.

– То-то, принцесса.

– Мам, пап, вам что-нибудь дать? Еще чипсов? Орешков? Баранина еще не совсем готова.

– От чипсов я бы не отказался. С каким они вкусом?

– Тайский сладкий чили и сметана.

– Ух ты. Чего только теперь не вытворяют с чипсами! – заметил Патрик. – Когда я был маленький, продавались только соленые – с сыром и луком, а чаще просто с солью и укусом. А когда появились со вкусом говядины и лука, это было просто как икра или что-нибудь такое. Как спутниковое телевидение. Приход Четвертого канала – это было что-то колоссальное, правда, Ви?

– О да. Это было сногшибательно. – Верена пила уже третий бокал вина. – Помнишь, Стеф?

- Вроде бы да... Смутно. А ты, Дэмиэн?
- Ага.
- Раньше-то было всего три канала: *BBC1*, *BBC2* и *ITV*. Помните передачу «Достояние семьи»?
- Я обожала «Достояние семьи»!
- Было дело, Стеф. По *ITV* шли все самые лучшие сериалы – «Шоу Бенни Хилла», «Опекун». Сейчас стало послабее.
- *Все* стало послабее, потому что теперь все со всеми конкурируют.
- Именно, Ви! О чем я и говорю. Для чипсов это не так уж плохо, если в результате у нас есть... какой там вкус, принцесса?
- Тайский сладкий чили и сметана.
- Вот-вот. Немного здоровой конкуренции не помешает, если на выходе получаются такие удивительные сочетания. Но если получаются передачи, которые – и там это отлично знают – оказываются, извините за выражение, полной лабудой, то для развлекательной индустрии это скверно, правда? Скажем, чем им не угодила «Трибуна»? Помнишь «Трибуну»?
- Ну как я могу забыть, пап. Ты нас ею мучил каждую субботу. Без исключений.
- Да, Дэмиэн. И если в это время кто-нибудь его отвлекал, он очень, очень сердился, – добавила Верена.
- Именно. Именно. Я обожал эту передачу. А они ее убрали. Просто не могу этого понять. И теперь вместо нее «В фокусе – футбол», а это, по-моему, уже совсем не тот уровень. Гэри Линекер – олух, извините за выражение. Модные рубашечки, гладенькое лицо, дамочки от него без ума, но он – не комментатор. С Доном Лезерманом не сравнить. Может, он и посмазливее, но мозгов у него и на половину Дона не наберется.
- Зато он много сделал для чипсов, – заметила Верена. – Все эти рекламные ролики...
- Но только для «Уолкерс». Они не делают новые вкусы, – сказала Стефани.
- То-то и оно. – Патрик взял еще одну чипсину. – Футболист превращается в рекламщика, а потом – в комментатора. Это как раз и возвращает меня к изначальной мысли, Дэмиэн. Просто помни: ты можешь быть кем хочешь, но очень важно ценить нынешнее положение и извлекать из него уроки. Может, однажды солнце на стеклянных поверхностях слишком раскочегарится, и придется, так сказать, выйти охолонуться. Но пока на твоем попечении драгоценнейшая жена и две драгоценные принцессы, да еще вот этот малютка принц – поди-ка сюда, парень! – ты должен быть добытчиком, дружище, и держать это в фокусе – ха-ха, как футбольный мяч, а? Кто знает, к чему это все приведет, верно? Нет предела совершенству и все такое.
- Все смотрели на Дэмиэна с сочувствием, отдавая должное искусной чередой Патриковых каламбуров.
- Ну да... Спасибо, Патрик, – пробормотал Дэмиэн.
- Ты великолепный исследователь воздействия солнца на обширные стеклянные поверхности многоэтажных квартирных комплексов, – сказала Стефани.
- Наверняка так и есть, – согласилась Верена. – Стеф, тебе нужна помощь на кухне?
- Нет, мам, спасибо. Все под контролем. Сиди спокойно, отдыхай. Может, тебе еще вина?
- Возможно, именно из-за стойкого эффекта этих родственных распеканий Дэмиэн проснулся сегодня вялым, подавленным и неудовлетворенным. От них у него всегда оставалось впечатление, что он живет неправильно, Стефани неправильная, этот дом неправильный и вообще все неправильно. В присутствии родителей Стефани, казалось, возвращалась к своей давней, более провинциальной, более скрытной ипостаси, возвращенной уроками верховой езды, долгими прогулками по сельским окрестностям, супружеским стоицизмом и детской, выходящей окнами на Суррейские холмы и очень похожей на ту, которую Стефани обустроила здесь. Дэмиэн с трудом мог разглядеть за этой цветущей папиной принцессой ту смелую, решительную, куда более интересную женщину, в которую он влюбился и на которой женился. Да и

влюбился ли он на самом деле? Может, просто она заставила его почувствовать себя нормальным, энергичным человеком, потому что, в отличие от него, была целеустремленной и решительной в том, что касалось жизненных планов, и он пошел у нее на поводу? По-настоящему ей хотелось, призналась она ему как-то в пабе в самом начале отношений, только одного: завести семью. «Я хочу, чтобы у меня были дети, дом и муж. Работать я буду, но работа не так важна. Настоящей работой для меня станут дети. Я хочу о них заботиться. И не намерена их спихивать в ясли в три месяца. Я буду учить с ними алфавит, гулять в парке, помогать им рисовать картинки. Буду их кормить. Ну да, я старомодная. Но я имею право всего этого хотеть».

Так оно и вышло. Теплый дом-таунхаус, к которому вела гравиевая дорожка. Безопасная, тихая улица. Качели на заднем дворе. Полосатый газон. Бамбуковая беседка, подаренная Патриком, откуда летними вечерами выбегали дети: шелковистые щеки, мягкие волосы. Они поклонялись своей матери, словно восходящему солнцу. Они заполняли ее до краев. Она учила их различать деревья, видеть хорошее друг в друге, контролировать эмоции. Их школа была в числе лучших и получала государственную поддержку. Джерри трижды в неделю оставался по утрам в хороших, светлых яслях, пока Стефани работала в местном благотворительном фонде. Рядом располагался большой парк и два фитнес-центра, плюс до неприличия широкий выбор складов-магазинов «Сделай сам», стоков популярных марок одежды и сетевых забегаловок в нескольких минутах езды. А потом они всегда возвращались в этот большой, теплый и крепкий дом с голубой парадной дверью и голубым диваном в гостиной, где можно сидеть и смотреть в окно на свет и на листья скального дуба. Стефани очень любила этот дом. За опрятность, за толстые ковры наверху, за поверхности из старого дерева. Ей нравилось, как эта опрятность сталкивается с хаосом, порождаемым детьми, – их обувью, фломастерами, пластмассовыми микрофонами, куклами, пазлами, конструкторами лего, – однако никогда полностью ему не поддается, поскольку Стефани разработала эффективную систему хранения: в этом доме каждая вещь имела свое место, пусть и не всегда находилась там. Плюшевые мишки, куклы и всякие мягкие игрушки жили в оранжевой подвесной икеевской корзине над лестницей. Крюк для этой корзины Дэмиэн прикрепил не без труда, он вообще не отличался особой рукастостью (еще одна причина, по которой Патрик его не особенно ценил). Предметы меньшего размера, изображающие людей или животных, хранились в пластиковой коробке с меткой «Живые существа». Коробка вставлялась в массивный стеллаж в игровой комнате, в котором было еще несколько отделений: «Бумага» (для собственно бумаги, книжек-раскрасок, наклеек и открыток), «Звуки» (для погремушек, музыкальных инструментов, свистулек и т. п.), «Предметы» (для неодушевленных игрушек, кукольной мебели, ракушек, стеклянных шариков и т. д.). Стефани наклеила эти ярлыки в минуты, свободные от развозов в школу / из школы, домашних дел и общего управления домом. Также она развесила по комнатам фотографии себя самой, Дэмиэна и детей. Этот дом и в самом деле очень напоминал тот, в котором она выросла. Детство Стефани было вполне счастливым, и ей ничего не стоило его воспроизвести. Она была довольна. Это давалось ей легко.

Дэмиэн начинал свою жизнь совсем не так. Он был не из Суррея, а из Южного Лондона – дитя многоквартирных домов Стоквелла. Газон если и был полосатым, то находился в общем дворе. Лестница располагалась не в прихожей, а за входной дверью, одного из четырех утвержденных государством цветов: красного, черного, голубого или зеленого (Лоуренс выбрал черный). На пятый этаж можно было подняться на лифте, но его кабину часто использовали в качестве туалета собаки, а может, пьяные – только сами виновники знали истину. Добравшись до своего этажа, ты промахивал пластиковым брелоком-ключом над запирающим устройством, и перед тобой отворялась тяжелая дверь с металлической окантовкой, открывая путь в холодный узкий коридор. В каждой квартире имелась маленькая ванная, маленький туалет без окон, маленькая кухня, средних размеров гостиная, а также одна, две или три спальни, в зависимости от количества жильцов (у Лоуренса с Дэмиэном было две). Имелись также балкончики, кото-

рые владельцы украшали сообразно собственному вкусу. Некоторые оставляли их пустыми или использовали только для сушки белья; другие пускались во все тяжкие: размещали подвесные кашпо, садовые столики, деревья в горшках, фонарики, – гордясь и вдохновляясь этим прямоугольником на открытом воздухе, стараясь добавить какой-нибудь флоры, перенести сюда кусочек Челси. Балкон Лоуренса и Дэмиэна был пуст, если не считать скамеечки и пепельницы на подоконнике, а квадратный проем над перилами затягивала зеленая казенная сетка, которая защищала балкон от птичьих экскрементов. Здесь Лоуренс размышлял большую часть времени – вечером, ночью, утром и днем. У него не было желания выращивать цветы и создавать уют. Главным для него были раздумья.

Лоуренс Хоуп, общественный деятель и публицист, переехал в Англию с Тринидада еще подростком и сделал карьеру на своей ярости. Он был одним из активистов, лично видевших квартирных хозяев, которые не желали сдавать чернокожим комнату, полицейских, которые держали чернокожих взаперти, уличных отморожков, которые не могли оставить чернокожих в покое. И они давали сдачи. Лоуренс бунтовал, организовывал и руководил. Он писал статьи о пагубной жестокости расизма, выступал в тускло освещенных общественных центрах с речами о необходимости действовать, о важности черного единства. «Без единства мы погибнем», – говорил он Дэмиэну за завтраком, или за просмотром вечерних новостей, или субботним вечером в прокуренной гостиной, в компании товарищей-активистов. Тусклые залы общественных центров постепенно сменились большими лекционными, а его статьи начали печатать газеты. Сборник эссе Лоуренса Хоупа, посвященный борьбе за расовое равенство в Великобритании, считался в научных кругах серьезной работой и до сих пор входил в программу некоторых университетских курсов. Больше он не издал ни одной книги, и ему так и не удалось получить постоянную должность в университете; однако он продолжал писать, сидя в углу своей спальни, которую использовал в качестве кабинета, – даже когда интерес к его статьям пропал, приглашений выступить почти не стало, само движение, каким он его видел, рассыпалось, мир отвернулся и сосредоточился на себе самом, а наследие Тэтчер сделало из людей эгоистов. Лоуренс продолжал писать и размышлять, и в конце концов у него не осталось ничего, кроме ярости, и он усыхал вместе с ней, становясь все более тощим и одиноким. «Мы по-прежнему несвободны, – твердил он Дэмиэну. – Считается, что свободны, но это не так. Предстоит еще масса работы». Впоследствии Дэмиэна буквально преследовала эта предстоящая работа. Он смотрел на книжные полки, покрывавшие стены отцовской комнаты и уставленные трудами Фанона, Болдуина, Райта и Дюбуа, этих храбрых, увенчанных ореолом людей, которые всю жизнь занимались столь важным делом, – и задумывался о том, как же он сам будет продолжать это важное дело, в то время как иногда ему хотелось просто прийти из школы домой и посмотреть «Соседей», не думая о том, почему в этом сериале нет черных, а потом поесть мясную запеканку, или лазанью, или еще что-нибудь такое, что едят в счастливых домах, где кто-нибудь готовит.

Женская рука, вот чего ему не хватало. Этого светлого, нежного, яркого элемента. Тоска по женскому присутствию превратила его в сексиста. Ему хотелось, чтобы пришла какая-нибудь женщина, поставила на подоконник цветы и сделала их балкон похожим на Челси. Чтобы она стирала занавески, меняла постельное белье. Поднимаясь по лестнице на свой пятый этаж, Дэмиэн воображал, что вдыхает не больничную вонь муниципальной лестничной клетки, а струящийся из-под черной двери аромат специй, маринада, помидоров, курицы: обещание ужина, горячее блюдо ее любви. Женщина, по которой тосковал Дэмиэн, не была его матерью – та уехала в Канаду, когда Дэмиэну было пять, и так и не вернулась, так что он ее почти забыл. Женщина, по которой он тосковал (и которая в конце концов тоже их покинула), звалась Джойс и когда-то встречалась с его отцом, приходила к ним домой и создавала уют.

Джойс тоже приехала с Тринидада, только позже. Она была светлой, веселой. В ней еще чувствовался легкий ветерок родного острова. Она носила яркие юбки, которые трепетали на

ветру, а в зимние месяцы – фиолетовый кардиган с золотыми пуговицами, а еще у нее были чудесные мягкие руки. Она готовила самую вкусную еду, какую Дэмизну доводилось пробовать, вкуснее, чем в забегаловке на Брикстон-роуд, где они с отцом были регулярными клиентами. В маринады она щедро добавляла перец, блюдо из риса с горохом получалось у нее восхитительно рассыпчатым. Она пекла имбирные кексы, покупала ананасы и вырезала из них сердцевину. Они ели все вместе за раздвижным столом в гостиной – прежде это была просто пыльная подставка для заблудившихся папок и пустых стаканов, теперь же он всегда был полностью раздвинут и на нем стояла ваза с фруктами – и да, с цветами тоже. Джойс говорила, что мужчины – это мальчишки, а мальчишки – это мужчины, и что и тем и другим нужны женщины, чтобы помогать им жить. «Дэмизн, – говорила она, – вытри рот салфеткой, когда доешь». Или: «Дэмизн, я вижу, ты в той же рубашке, что и вчера, тебе надо ее поменять». Сидя за столом, они говорили о том, как прошел их день, рассказывали о своей жизни. Лоуренс стал мягче, он смеялся. Дэмизн узнал об отце множество вещей, которых не знал прежде, – о его детских годах в Тринидаде, о которых раньше Лоуренс почти не упоминал, словно они не имели значения, словно его сформировала только Англия, словно он не существовал до того, как стал сердитым. Зов активизма отступил перед светлым очарованием Джойс, и отец тоже ненадолго просветлел.

Но эти отношения продлились недолго. Лоуренс устал жить в комнате вдвоем и жаловался, что не в состоянии думать. А Джойс стала обвинять его в том же, в чем когда-то обвиняла Дэмизнова мать: что он – холодный, зашоренный, эгоистичный, высокомерный, что он никуда с ней не ходит, что он больше не старается ее порадовать, что он ее не ценит. Аромат маринада все реже встречал Дэмизна, пока он взбирался по четырем лестничным пролетам, и однажды вечером, отпирая входную дверь, он услышал, как они ссорятся. Джойс говорила отцу, что тот не умеет обращаться с черными женщинами. Он может встречаться только с белыми женщинами, потому что белым женщинам не требуется такое уважение, какое нужно черным. Лоуренс велел ей убираться. Дэмизн никогда не видел его таким сердитым. Позже, в темноте своей спальни, Дэмизн почувствовал, что рядом с ним опускается ее мягкий силуэт, что его по щеке легонько гладит ее мягкая рука. Он не стал открывать глаза; он знал, что она уходит, и не хотел прощаться. Шорох ее одежды, когда она вставала, звук ее шагов, а потом полная тишина: она остановилась у двери. На следующее утро ее уже не было. Квартира вернулась к своей прежней аскетичности, Лоуренс с еще большим упрямством вернулся за свой унылый рабочий стол, к проблемам обращения полиции с чернокожими, подавления брикстонских волнений, несоразмерно большого числа черных в психиатрических лечебницах и в тюрьмах.

От всего этого у Дэмизна возникло ощущение, что он обязан сделать в жизни нечто значительное. Подобно члену семейства Марли или Кути, он должен продолжать отцовскую работу, принять свое положение в социуме как проводника происходящих перемен. Однако, пытаясь решить, какую специальность выбрать в университете, чтобы следовать своему призванию, Дэмизн уперся в стенку. В глубине души ему хотелось изучать литературу, но он чувствовал, что должен пойти на политологию или социологию, – и, взбунтовавшись против этого чувства долга, выбрал философию и провел три года, пристраивая сомнительные теоретические и литературные подпорки к главному вопросу о смысле всего: почему мы существуем? действительно ли мы существуем? для чего живем? какова цель религии? Когда Дэмизн покинул университет, будущее представлялось ему еще более туманным; он позволил вовлечь себя (через знакомых Лоуренса) в написание рецензий на книги и научную помощь для съемок документального фильма о работоторговле, над которым Лоуренс работал уже двенадцать лет. Между тем Дэмизн подумывал пойти в магистратуру по филологии, словно бы возвращаясь к своему первоначальному порыву, но к тому времени у него появилось ощущение, что уже слишком поздно. Он обратился к рынку вакансий, к этим объявлениям, которые приводят

опасные мечтания в безопасный тупик, и после нескольких собеседований как-то незаметно оказался в Эджваре, в муниципальном жилищном офисе, и принялся составлять черновики договоров об аренде, писать извещения о выселении, а также заниматься заявками на жилищные льготы. Не такую работу представлял себе Дэмиэн, но эту он воспринимал как временный вариант – пока не поймет, чем же действительно хочет заниматься. Он читал книги. Читал Шекспира, Кафку, Фланнери О’Коннор. Читал Рэймонда Карвера, и ему страстно хотелось самому запечатлеть пронзительные моменты человеческой жизни. И вот по вечерам, сидя в своей комнатке за старой партой из комиссионки, он начал писать книгу. Это был роман воспитания – история о мужчине двадцати с небольшим лет, который пытается найти себя. Дэмиэн работал над книгой целый год, куря сигарету за сигаретой, сидя в коротких носках и длинных шортах, так что голыми оставались только лодыжки – это было очень важно, холодок на щиколотках помогал ему сосредоточиться, – делая подробные конспекты и читая подходящие книги по психологии и теории идентичности. Но настал момент, когда он снова уперся в стенку. Он запутался. Слова спотыкались друг о друга. Всякий раз, когда Дэмиэн пытался написать фразу, мысль, возникшая у него в голове, жухла и обращалась в пепел; его охватило какое-то бессилие, и он не мог продолжать. Примерно в это время он и встретил Стефани.

Она остановилась возле него в третьем коридоре ислингтонского выставочного центра – красные туфли, каштаново-рыжие волосы, чистая бледная кожа, ростом чуть повыше его – и спросила, не знает ли он, как по этой запутанной карте найти конференц-зал, после чего они вместе отправились на поиски. С самого начала было ясно, что Дэмиэн ей понравился. Она этого не скрывала, она сразу все решила. Она подумала (и позже призналась ему), что он выглядит в точности как тот мужчина, который ей недавно приснился: немного коренастый и склонный к полноте, крупные руки, мелкие темные кудряшки, смуглая кожа, – он внезапно ворвался в ее сон, словно что-то искал. Может, тебя и искал, сказал он ей. Может, и так, согласилась она. Они лежали в его комнате, играла пластинка Бобби Макферрина, на полу лежали конверты для винила, сброшенные красные туфли валялись под партой, соприкасаясь носками. В этих туфлях она вместе с ним исходила весь город: концерты, пабы, рестораны, кино, глинтвейн в сумерках Камдена, вид на Темзу с набережной Хаммерсмита. Город был для нее лишь временным пристанищем, потом она вернется обратно на холмы, вместе со своей семьей, своими детьми, которые – она знала – у нее обязательно появятся, а потом будут носиться по полям и запускать змеев, будут кататься на лошадях, узнают, что такое леса и луга. В Лондоне тоже есть леса и луга, замечал Дэмиэн, но они же не такие, возражала она, в них все равно слышен шум машин, вой сирен, стрекот вертолетов, терпеть их не могу, сразу думаю об авианалетах. Они продолжали спорить, когда вместе сняли квартиру в Южном Лондоне, в районе Далвич: там они часто ходили в лес, стали супругами и затем гуляли по лесу уже с Саммер, которая сидела в сумке-кенгуру возле груди Стефани. Но однажды, когда они ехали на машине по переулкам Форест-Хилл, а Саммер мирно спала в детском кресле, Стефани среди бела дня увидела следующую сцену. На тротуаре стояло трое мужчин: один держал в руке камень размером с голову Саммер и целился этим камнем в голову второго, а третий пытался помешать нападавшему. Стефани не стала останавливаться, чтобы посмотреть, швырнул ли тот камень, но ее ужаснуло его кровожадное лицо. Приехав домой, Стефани в тот же вечер объявила Дэмиэну, что возвращается в Суррей, нравится ему это или нет, и пропустила мимо ушей его аргументы, что не только в Лондоне, но и в окрестных графствах людям, вероятно, иногда проламывают голову большими камнями.

Патрик и Верена были довольны. Они помогли дочке и зятю с начальным взносом за первый дом на окраине Доркинга, а потом, когда Стефани вынашивала Аврил, – с первым взносом за нынешний, финальный, гораздо более просторный дом на Ралли-роуд. Дэмиэн твердо решил вернуть все деньги ее родителям, но пока этого сделать не удалось. После знакомства со Стефани он дважды менял работу, но так и не сумел выбраться из жилищной сферы, только про-

бился выше – в консалтинговое агентство в Кройдоне. Теперь по пути на работу ему вообще не требовалось соприкасаться с Лондоном. Он мог вообще не заходить в метро. Он вливался в толпу пассажиров, стекавшихся на станцию Ист-Кройдон в 17:20, – вокруг нависали стальные офисные комплексы и высоченные серебристые небоскребы, напоминая какой-то инопланетный городок, – и заходил в набитый поезд, который затем по гладким, скоростным рельсам устремлялся за город; толпа понемногу редела, за окнами виднелось все больше зелени, город оставался далеко позади, и Дэмиэн добирался домой как раз вовремя, чтобы помочь Стефани уложить детей. Иногда он даже успевал с ними поужинать и послушать, как они рассказывают про свой день: про отметки за таблицу умножения, поездку на ферму, рождественский концерт; Стефани говорила о продлении страховки, о записи на уроки плавания, о предстоящих местных ярмарках и о цирковых представлениях, которые они могли бы посетить. Столько дел и ответственности, требовалось постоянно держать в уме массу всяких вещей и заниматься массой всяких вещей – и Дэмиэн почти не успевал осознать, как ему не хватает Лондона, городского гомона, ревушего Брикстона и любимой Темзы, карибских забегаловок, ночного блеска небоскребов, сомнительных ларьков с мобильниками, африканцев в Пекхэме, повсеместных плантанов, суровой красоты церковных прихожанок воскресным утром, Вест-Энда, дуновения искусства, дуновения музыки, ощущения безграничных возможностей. Ему не хватало метро, телефонных кабинок. В глубине души он скучал даже по коварным парковочным инспекторам и по бессердечным водителям автобусов, которые из вредности пролетали мимо очереди мерзнущих людей. Ему не хватало велопрогулок по маршруту университет Лафборо – пристань Суррей-Куйэс: мимо проносятся платаны, идет какая-нибудь женщина с длинными локонами, в обтягивающих джинсах на ремне с заклепками и вызывающих сапогах, возможно, держа за руку маленького мальчика. Очертания домов, переулки и даже, да, *сирены* и вертолеты, биение жизни – ему не хватало всех этих вещей, так хорошо знакомых. Но главное, он сознавал, что его место – там, что в Доркинге он никогда не станет настолько своим. Он находился за пределами города, не мог найти себя на его карте. Он чувствовал, что в каком-то важнейшем смысле живет вне собственной жизни, вне самого себя. Проблема (если это и правда была проблема: как можно называть проблемой такое, когда тебе надо оплачивать счета, кормить детей, поддерживать нормальное существование своего дома?) состояла в том, что он не понимал, что делать, как избавиться от этого *ощущения*, как добраться до того места, где он будет чувствовать себя *на своем месте*. И поскольку это была не такая уж серьезная проблема, даже и вообще не проблема, он гнал эти мысли, принимая все как есть. По утрам он доезжал до станции на велосипеде (хотя в последнее время перестал так делать и начал полнеть, как и предсказывала Стефани). Он садился на поезд, прибывал в инопланетный городок, потом покидал его и возвращался домой, разговаривал о насущных домашних делах – а все его сомнения, тревоги, желания и меланхолическое раздражение словно бы оказались убраны на хранение в буфет вместе с неоконченным романом, и лежали там тихо, аккуратно и послушно – примерно до настоящего момента.

\* \* \*

Лоуренс умер в хосписе возле парка Клапем-Коммон от застойной сердечной недостаточности. Он удалился туда, откуда нет возврата. Его дыхание перестало стремиться к вечности. В последние дни Дэмиэн был с ним – глядя, как Лоуренс все глубже утопает в простынях, как его кожа делается пепельно-серой, а глаза желтеют, как он поворачивает голову влево и замирает в глубине сентябрьской ночи. Как странно: когда это произошло, Дэмиэн почти ничего не почувствовал. Лишь наблюдал, как Лоуренс умирает. Задремав в кресле рядом с кроватью он внезапно проснулся, как раз вовремя, словно Лоуренс позвал его своим жутким негромким покашливанием, словно не желал, чтобы сын пропустил этот миг. Дэмиэн сразу понял: что-то

изменилось, отец уходит именно сейчас. И он смотрел, как этот человек обращается в прах, становится новейшей историей, как исчезает старик, от которого произошел он сам, Дэмиэн, – но кроме неслышного зова, кроме слабого прикосновения невидимых рук к его сердцу, не чувствовал ничего. Потом он некоторое время просто стоял, то глядя на белую подушку чуть левее лица Лоуренса, то переводя взгляд на лицо. А потом вышел из хосписа и принялся бродить по окрестным улицам, смутно чувствуя, что мир теперь стал другим, но не в состоянии это толком осознать. Он ожидал, что ощутит себя по-новому одиноким, что начнется процесс реконструкции, в результате которого Лоуренс войдет в зал его сознания облаченным в белые одежды святости, облагороженный болью, сияющий потусторонней мудростью. Дэмиэн полагал, что расплачется, или разозлится, или ощутит свою призрачность, свою связь с небесами. Но ничего такого не случилось. Облака не переменились. Деревья не транслировали никаких посланий. Он вернулся домой и провел последующие несколько дней за посмертными хлопотами. Лоуренс умер в четверг, сразу после полуночи. Уже в понедельник утром Дэмиэн вышел на работу.

Чувствовал он нечто другое, очень конкретное, но в то же время и туманное; это чувство явилось ему наутро после похорон в виде вопроса из десяти слов. Вопрос был беззвучным. Почти неразличимый, совокупность всех его устремлений; раз возникнув, он уже не покидал Дэмиэна: «Сколько еще ты будешь жить так, словно идешь по канату?» Он толком не понимал, что это означает. Вопрос казался надуманным, он раздражал, но при этом тревожил, как подвох. Он следовал за Дэмиэном повсюду. И сейчас продолжал крутиться в голове, в то время как Дэмиэн, все еще в халате, заканчивал уборку в туалете на первом этаже, а потом шел через кухню (перегороженную здоровенной гладильной доской и горой белья) в столовую, уставший от этого дома, от его дневной сумрачности, унижительной размеренности, от кокетливой и откровенно безвкусной беседки, – как же он ее ненавидел! «Сколько еще? – словно спрашивала она. – Сколько еще ты будешь жить так, словно идешь по канату?»

Вопреки предположению Стефани, Дэмиэну очень хотелось поехать к Майклу. С Майклом они были давно знакомы. Вместе учились в университете. В баре студенческого союза вели долгие споры о Франце Фаноне, расовых проблемах, черной музыке, и у Дэмиэна постепенно возникло ощущение, что все эти вещи важны для него самого, а не только для отца. Когда Майкл сошелся с Мелиссой, мужчины старались не терять друг друга: уже вчетвером они ходили куда-нибудь выпить или поужинать. Эти ужины всегда доставляли Дэмиэну удовольствие – совместное поглощение еды, фоновая музыка. Они вечно разговаривали о музыке, фильмах, книгах, и, прощаясь, он чувствовал себя более счастливым, вновь соединившимся с творческой, неустойчивой стороной своей натуры. Иногда, вернувшись домой и дождавшись, пока Стефани уйдет наверх и дом затихнет, Дэмиэн подходил к буфету в столовой, где хранил свои старые папки и бумаги, доставал свой недописанный роман и смотрел на него. Просто сидел на полу и смотрел на рукопись, и ему снова казалось, что это возможно. Дэмиэн перечитывал некоторые предложения и размышлял, как можно их улучшить, как можно переиначить и перекроить весь текст так, чтобы он стал насыщенным и завершенным. А потом убирал рукопись обратно в буфет с твердым намерением поработать над ней ближайшим же вечером – но ни разу этого не делал. В чем тоже винил Стефани.

В гостиной он увидел, что за столом сидит девочка. Она макала вафлю в кастрюлю с густой ржаво-бурой жидкостью. Сосредоточенная, она даже не подняла чуть рыжеватой головы, продолжая глядеть влево, куда легла полоса внезапного бледного солнца, знак передышки среди дождя, словно считывая оттуда инструкцию. Дэмиэн часто натывался на своих детей вот так – словно на неожиданные капельки света. Их чистота по-прежнему надрывала ему сердце. Его поражала новизна их жизней, мысль об ответственности и влиянии на детей, о том, что они формируются под воздействием его поступков, какие бы они ни были. Это была Аврил, его средний ребенок, шести лет.

- Привет, милая, – произнес он. – Чем это ты занимаешься?
- Кораблик делаю. Из жидких ирисок.
- Ух ты.
- А потом, – добавила она восхищенно, – мы его съедим!
- Кто – мы?
- Мы все! Ты, я, Саммер, Джерри и мама! Вся семья!

### 3

## Миссис Джексон

В Белл-Грин тоже шла уборка – подоконников, стеллажей, столиков, полов, – пожира-тель времени, бессмысленная каторга, которая повторялась из недели в неделю, напоминая о нескончаемых домашних обязанностях и безнадежной рутине твоего существования. Мелисса терпеть не могла убираться. Это занятие вовсе не было целительным, оно не обновляло и не стимулировало творчество, как любили утверждать некоторые. Тебе просто летела пыль в лицо, вот и все. Мелисса убиралась с огромной неохотой и неудовольствием, в выцветшем, забрызганном краской джинсовом комбинезоне и дырявой майке, и выражение ее лица давало вполне наглядное представление о том, как она будет выглядеть в старости. Теперь, когда требовалось убирать целый дом, страдания Мелиссы усугубились, и, таскаясь с тряпкой по гостиной, коридорам и спальням, она слышала, как миллионы крошечных пылинок смеются над ней, крутятся в вихрях своей микроскопической свободы, оглушительно хохочут, когда она подходит к неподвижной черной глади телевизора, – пыль оседала на ней тут же, как только Мелисса ее вытирала, – пляшут и хихикают в свете потолочного окна, пока она с грохотом поднимается по ступенькам с пылесосом. Несколько утешали Ашер и Берес Хэммонд (музыка – сила), однако примирить с уборкой, пока она не будет окончена, не могло ничто.

Мелиссе не повезло: дом тринадцать по Парадайз-роу оказался каким-то особенно пыльным. Он был построен примерно в 1900 году на слегка наклонном участке с дающей усадку глинистой почвой, настолько характерной для многих частей Южного Лондона, что домовладельцам приходилось страховать от проседания грунта. Из-за этого наклона, из-за вероятного съезживания и проседания все в доме казалось каким-то кособоким и сырым, словно внутри корабля. В восточном направлении полы шли слегка под уклон. Углы были не совсем прямыми, плинтусы потрескались в тщетной попытке плотно прилегать к стенам и одновременно соединяться перпендикулярно друг другу. В образовавшихся трещинах с легкостью заводилась пыль. Она оседала на декоративном поручне на лестнице. Из-за этой влажности, из-за сырости воздуха пыль налипала между деревянными панелями на стенах в столовой, где на рядке низко прикрепленных крючков висела детская верхняя одежда. Пыль копилась на притолоках, рамках картин, абажурах. Хуже всего дело обстояло в спальне, где от нее пострадало изголовье кровати из бутика и верхний край танцующих в сумерках. В платяных шкафах завелась плесень, источавшая затхлый, какой-то древний запах, и когда Мелисса нагнулась, чтобы выровнять ряд обуви, то уже во второй раз обнаружила на подошвах влажную белесую пленку, которая осталась у нее на пальце.

Майкл в это время гулял с Блейком. Риа сидела в соседней комнате, что-то делая с картонной коробкой и, по своему обыкновению, бормоча себе под нос. Вдруг бормотание прекратилось, и она позвала с пронзительной настойчивостью:

– Мама! – Последовал звук шагов, и девочка появилась в дверях, уперев руку в бок. – Мама, почему ты всегда выкидываешь мои вещи?

– Я не всегда выкидываю твои вещи.

Мелисса повернулась и посмотрела на дочь – длинноногую, большеглазую семилетку с меняющимися зубами. Сейчас не хватало левого верхнего резца, что придавало улыбке Риа что-то ведьминское, – улыбке, которая обычно с легкостью вспыхивала на ее лице, но сейчас пряталась. От Майкла девочке достались полные, четко очерченные губы и длинные, узкие, нескладные ступни, а от бабушки по материнской линии – намек на нигерийский нос. Ей нравилось носить одну белую перчатку, на левой руке (вот как сейчас), и ее до сих пор немного

раздражало, что у некоторых вещей по два названия: «макароны» и «спагетти», «штаны» и «брюки». Это как-то запутывало.

– Нет, всегда, – возразила она. – Я что-нибудь приношу, какую-нибудь открытку, или рекламку, или еще что-нибудь, а потом пытаюсь ее найти, а ее вечно нет, потому что ты ее выбросила.

– Ну откуда мне знать, что мусор, а что нет? Мы же не можем хранить вообще *всё*, что ты притаскиваешь в дом. – Веточки, проездные, миниатюрные схемы лондонского метро, рекламы окон, камушки, осенние листочки, грязные заколки, монетки, бейджики, флажки, вееры, закладки, ветхие резинки для волос, комок грязи. Эта бесконечная лавина личного имущества была невыносима. – Я просто пытаюсь поддерживать порядок.

– Мои лотерейные билеты – никакой не мусор. Я собиралась их использовать.

– Но тебе еще слишком мало лет, чтобы участвовать в лотерее. Тебе должно быть как минимум шестнадцать.

– А, правда? Я не знала. Но вообще-то я их просто собирала. Они были *мои*. И были мне *нужны*. Я же не выбрасываю твои вещи. Если бы я что-нибудь твое выкинула, ты стала бы на меня кричать, ты бы конфисковала...

– Конфисковала.

– Ну да, конфисковала... так почему тебе можно выбрасывать мои вещи, а мне твои нельзя? – Риа ждала ответа, и Мелисса попыталась придумать спокойную, вескую и дипломатичную фразу, однако у нее никак не получалось. – Ладно, проехали, – сказала Риа и, громко топая, вышла из комнаты.

Нам следует помнить, что дети – тоже человеческие существа, советовал специалист по родительству, автор книги «Воспитывайте правильно», которую Мелисса однажды купила в припадке отчаяния, не понимая, как ей удастся воспитать ребенка, не прибегая к телесным наказаниям, которые Мелисса категорически не одобряла – да и в любом случае они не помогали. Она шлепнула Риа всего один раз – когда та в трехлетнем возрасте улеглась прямо на пешеходном переходе, потому что не хотела больше никуда идти, и этот шлепок не произвел абсолютно никакого эффекта: дочь так и продолжала лежать на этих полосках, и Мелисса волоком потащила ее к тротуару. Вскоре после того случая Мелисса и купила «Воспитывайте правильно». Непродуктивно и нечестно позволять нашей личности, нашим тревогам влиять на наших детей, утверждалось в книге, ведь перед ними стоит сложнейшая задача: сформировать собственную индивидуальность. Они заслуживают терпеливого обращения. Они заслуживают пространства, где смогут быть собой. Избегайте конфликтов. Почаще хвалите их. Эти крупинки гуманной премудрости всплыли в мозгу Мелиссы, вызвав некоторую досаду. И она отправилась в комнату Риа, настроенная на понимание и примирение.

Однако, что бы ни произошло в этой комнате, оно уже заставило Риа забыть об обеде, и теперь та снова что-то бормотала себе под нос деловитой скороговоркой, явно забыв о выброшенных важных вещах. Она присела на ярко-алом коврик перед своей картонной коробкой, вокруг которой виднелись коробки поменьше, обрывки бумаги, клейкая лента, ножницы, фольга, веревочки, карандаши, старая зубная щетка, парковочные талоны. Эта комната до сих пор напоминала Мелиссе о Лили, дочери Бриджит – девочка лежала в своем укрытии, пока чужие люди осматривали дом. Иногда Мелисса задумывалась: может, с этой комнатой что-то не так? Она была прямоугольная, сумрачная, выходящая на север. Кровать Риа стояла там же, где у Лили, – вдоль стены слева от окна. Кроватка Блейка располагалась в противоположном углу.

– Что ты делаешь? – спросила Мелисса.

– Строю дом. Чтобы в нем жить, когда я уменьшусь. Мне сегодня надо его доделать, а то я, может, не смогу уменьшиться. День уменьшения – только сегодня.

Риа не поднимала взгляд: она продолжала складывать верхние клапаны коробки в подобие крыши.

– А в какой-нибудь другой день ты не можешь уменьшиться? Ты же знаешь, к нам скоро придут гости. Вряд ли им понравится, если ты уменьшишься. Они встревожатся, даже решат, что это невежливо. Ты разве не хочешь поиграть с другими ребятами?

– С какими другими ребятами?

– С Джерри, с Саммер, с Аврил. Они все придут.

Риа ненадолго задумалась.

– Ну ладно, – наконец решила она. – Могут вместе со мной уменьшиться. Мне для этого нужны были лотерейные билеты – чтобы по ним другие люди попадали в дом. Без билета могу только я. А теперь мне придется вместо них взять эти талоны с парковки.

– Прости, что я выбросила твои лотерейные билеты.

– Да ничего, мамочка.

– В следующий раз сначала у тебя спрошу.

– Спасибо.

Спохватившись, Мелисса добавила:

– Прежде чем уменьшить ребят, обязательно спроси разрешения у их родителей. И у них самих спроси, хотят они уменьшаться или нет.

\* \* \*

Дэмиэн со Стефани прибыли, когда солнце уже скрылось и вернулся утренний дождь, принеся с собой ледяной восточный ветер. Стефани пришлось вынести неприятную поездку, в точности такую, как она ожидала: Дэмиэн всю дорогу читал литературный раздел субботней *The Guardian* и ни с кем не разговаривал. Впрочем, он, кажется, немного развеселился, когда они выгрузились из своего здоровенного темно-серого универсала и двинулись по Парадайз-роу; Джерри несся впереди – он всегда с трудом высиживал в машине и теперь с наслаждением вырвался на свободу, – девочки следовали за ним. Именно в такие моменты, когда она созерцала свою семью в каком-то нейтральном месте за пределами дома, Стефани охватывало сильное и убедительное чувство правильности происходящего. Это ее банда, ее команда. Они всё выдержат; всякие пустяки ничего не значат – перепады настроения, обиды, простыни. И сейчас они отлично проведут время.

Отворяя дверь, Майкл нараспев произнес: «Приветик!» – и они столпились в прихожей, снимая обувь, куртки и пальто, распахивая перчатки по шапкам и карманам.

– Боже, – произнесла Стефани, разматывая свой длинный-предлинный шарф, – в этом городе все больше и больше машин! Мы сто лет стояли в пробке, правда?

Обращалась она к Дэмиэну, но тот не ответил, чувствуя, что это скорее не вопрос, а один из тех раздражающих, надоедливых оборотов, которые так любит Патрик. К тому же сверху на лестнице как раз появилась Мелисса в интересном черном топе, со сверкающими кисточками. Ее афроприческа стояла словно нимб. Мускулистые руки были обнажены до плеч. Она спускалась вниз, покачивая кисточками.

– Всем привет, – произнесла она.

– Привет, – отозвался Дэмиэн, обращаясь к ней одной.

Но тут внешний мир возник снова. Майкл сказал, что заторы, видимо, из-за дождя, а Стефани ответила:

– В последнее время, когда я оказываюсь в Лондоне, у меня голова идет кругом.

– Выпей вина, и расслабишься, – предложила Мелисса. – Красного или белого?

– Ну, я бы лучше белого, но, наверное, все будут красное, правда? Я как раз недавно кому-то говорила: никто больше не пьет белое вино. Чем оно провинилось? Я обожаю белое! Но мы принесли красного, смотрите.

Дэмиэн торжественно передал Мелиссе бутылку в голубом пластиковом пакете.

– А белое у вас есть? – спросила Стефани.

– Есть. Я тоже люблю белое.

Из динамиков доносился филаделфийский соул. В воздухе стоял аромат индийских благовоний, которые Майкл зажег после уборки в гостиной, в знак возвращенной ей безупречности. Джерри и Саммер нависали над Блейком, который сидел в своем креслице у дивана, сжимая погремушку, и похныкивал, недовольный наплывом публики. Риа спросила у Аврил, не хочет ли та подняться наверх и уменьшиться, но тут вспомнила, что ей следует вначале спросить разрешения у Стефани.

– Уменьшиться? Что? Уменьшиться? Ах, *уменьшиться*. Ну конечно, иди уменьшайся, – разрешила Стефани, поняв многозначительный взгляд Мелиссы.

Джерри вскричал:

– Меня подождите! – и устремился вверх по лестнице вслед за девочками.

Саммер велели пойти туда же, чтобы присмотреть за всеми, и та неторопливо и равнодушно направилась вверх по ступенькам.

– Ну а ты... – Стефани опустилась на колени перед Блейком, словно перед священной реликвией. – Только поглядите на него. Чудесный. Ах ты сладенький. Можно взять его на руки?.. Смотри, что мы тебе привезли, – весело проговорила она, протягивая ему комбинезончики; Блейк тут же потянул их в рот. – Будешь их носить, когда подрастешь... Ты будешь становиться все больше, и больше, и больше, правда? Ничего другого тебе делать не надо, счастливый малыш.

– Ого, кое-кто тут настоящая наседка, – заметил Майкл.

– А она всегда как наседка, – сообщил Дэмиэн.

– Ничего я не наседка! Я просто люблю маленьких, вот и все. А теперь расскажи, как прошли роды, Мелисса. Все хорошо? Я хочу знать все-все-все.

Блейка усадили на колени к Стефани (маленькая ступня по-прежнему смотрела внутрь, хотя косолапость постепенно сходила на нет), и Мелисса в пятнадцатый раз принялась рассказывать, как рожала; Майкл иногда вмешивался, добавляя подробностей и преувеличенных деталей. Стефани слушала с наслаждением. Это была ее любимая тема; время от времени она вставляла авторитетные суждения о том, что, с точки зрения земной матери, следовало сделать на том или ином этапе. Между тем Дэмиэн слушал музыку и рассматривал корешки книг на белых полках – там были Карвер, Хемингуэй, Толстой, Лэнгстон Хьюз, – ощущая, как где-то в глубине пробуждается знакомое чувство. Мелисса, которой надоело в который раз рассказывать о родах, попыталась вовлечь Дэмиэна в разговор и спросила у него, как вообще жизнь, как работа и прочее.

– Да все та же тягомотина.

– А чем ты занимаешься, напомни?

И он рассказал об изучении воздействия солнца на обширные стеклянные поверхности многоэтажных квартирных комплексов (тоже примерно в пятнадцатый раз). Уточняющих вопросов не последовало.

– А у тебя как? – спросил Дэмиэн, радуясь этой обособленной беседе, словно бы полной скрытого смысла, куда Стефани с Майклом тем временем продолжали начатый разговор.

– У меня все... э-э... как-то шатко, – ответила Мелисса; ее кисточки поблескивали в свете лампы-зигзага. – Я сейчас на фрилансе.

Мелисса пять лет писала про моду и стиль жизни в *Open*, глянцевого журнале для жительниц города, но за несколько месяцев до рождения Блейка решила «переменить жизнь» и взять

полноценный декретный отпуск. Когда родилась Риа, Мелисса вернулась на работу уже через два месяца, оставив девочку на попечение собственной матери.

– Все совсем по-другому, – добавила она. – Я скучаю по суматохе.

– Тебе повезло. Я бы с радостью оставался дома и писал, – признался Дэмиэн. – Это моя мечта.

– А что бы ты писал?

– Ну не знаю. Что в голову придет.

Он не решался рассказать ей о своем романе. Во всяком случае – не здесь, не так.

– Мечты существуют для того, чтобы воплощать их в жизнь. – У Мелиссы всегда имелся наготове запас жизнеутверждающих цитат от мудрых мыслителей, в их числе Паоло Коэльо, Элис Уокер, далай-лама и несколько других буддистов, которых советовала ей сестра Кэрол, преподавательница йоги. – Но теперь я больше читаю. Когда я увольнялась из *Open*, это как раз входило в мои планы. Теперь я пытаюсь нормально прочесть все книги, которые упустила, когда училась филологии в университете, – тогда мы анализировали до посинения, писали сочинения. Это мешало *читать* их, знаешь, просто читать, ради удовольствия. Я возвращаю себе литературную невинность.

Дэмиэн воодушевился.

– Я никогда не смотрел на это под таким углом. Я всегда жалел, что не пошел на филологию... Может, и хорошо, что не пошел.

– Поэтому я и оказалась в модной индустрии. Хотела убежать от слов.

– Но тебе все равно приходится писать слова.

– Да, но это осязаемые слова. Петли для пуговиц. Нити. Материальные вещи... – Она принялась пространно разьяснять различия между японской и американской джинсовой тканью: американская со временем правильно выцветает, давая классический винтажный оттенок, а у японской больше вариантов цветов и фактур. Мелисса имела в виду, что джинсовая ткань сама по себе – вещь осязаемая, неэзотерическая, не вторгающаяся в творческую сферу. Иногда, написав очередную заметку про одежду, Мелисса читала стихи. У нее в голове оставалось свободное место.

Музыка стихла, и Майкл пошел поставить новую пластинку. Возник неловкий момент, когда Стефани и Дэмиэн одновременно начали что-то говорить Мелиссе – какие-то комплименты насчет дома. Ей всегда казалось, что Стефани с Дэмиэном не подходят друг другу: конечно, Стефани выше ростом, но некоторым парам это не мешает, нет, тут дело в другом: Дэмиэн – такой неуверенный, замкнутый, растерянный, а Стефани – прямая и целеустремленная. Она сидела на диване в омуте своего длинного зеленого кардигана с таким видом, словно никогда в жизни ни о чем не задумывалась слишком глубоко. Казалось, эти супруги живут в тени друг друга.

– Кстати, я очень соболезную – я слышала про твоего отца, – сказала Мелисса Дэмиэну, и Стефани сочувственно, без улыбки глянула на него, а потом снова принялась выпрямлять косолапую ножку Блейка поглаживаниями вниз, как советовала акушерка Мелиссы.

Из кухни тянуло ароматом цыпленка под соусом карри и жареного риса с горохом, платанами и карибским красным перцем. Цыпята были сдобрены универсальной приправой, рис – тимьяном и кокосовым молоком. В качестве закусок служили полоски манго и сыра халуми, которые разносила Саммер, стараясь быть полезной; Майкл в это время разливал мальбек и белое. В двойных окнах стоял густой и плотный вечер. Ветер дул сильнее, сгибал и разгибал березы. Послышался даже удар грома.

– Ух, погодка-то неприятная, – заметил Майкл.

Как всегда в таких случаях, беседа постепенно расщепилась надвое. Мужчины стали говорить о спорте (бокс, футбол), женщины – о Блейке и его режиме сна и кормления. Мелисса поймала себя на том, что подробно расписывает трудности перехода на твердую пищу, на что

Стефани отозвалась с большим энтузиазмом («Я вот как делала: просто давала им кусочки всякой еды, пока готовила, какую-нибудь брокколи, морковку, что-то такое, так что они успевали пообедать, сами того не замечая». – «Ну да, я тоже начала так делать, – сказала Мелисса, – но, если я сажаю его на стульчик, он ни к чему не притрагивается, просто сидит и сосет большой палец. Я ему говорю: слушай, да ты же минуту назад это ел, что изменилось?» На что Стефани отвечала: «Да он просто проверяет границы дозволенного. Они часто так делают. Им нравится чувствовать, что они что-то контролируют. Для них все в новинку, все удивительно. И если посмотреть на мир глазами ребенка, он же и правда удивителен. Очень интересно, поместится ли эта сковородка в ту, что побольше, влезет ли эта баночка из-под песто в этот большой стаканчик из-под мороженого, насколько вода мокрая, да и вообще все что угодно!»).

Потом разговор снова слился воедино, и они стали обсуждать общие для всех темы: ипотеки с фиксированным процентом, начальные школы, домашние усовершенствования, – при этом часто говоря о себе «мы» вместо «я». В языке семейной пары местоимение «я» исчезает. Каждый обозначает себя, словно монарх, как бы подразумевая своего партнера и умаляя ценность себя самого, так что границы отдельной личности размываются. Чтобы перевести дух, Мелисса то и дело сбегала на кухню проверить готовящиеся блюда, а потом поднялась наверх уложить Блейка и проверить, как идет уменьшение. Пока все сохраняли свои прежние размеры.

– Мм, как вкусно, – восхитилась Стефани, когда они сели за ужин. – Обожаю карри.

– И я, – отозвался Майкл. – Это Мелисса готовила.

– Рис приготовил Майкл.

– Интересно, правда? – заметила Стефани. – Что-то вроде рагу или карри встречается по всему миру. Везде одно и то же: помидоры и лук с какой-то основой тушат в собственном соку. Но в то же время у всех по-разному: в России это бефстроганов, в Италии – болоньезе, в Индии – карри, в Марокко – тажин...

Она сидела рядом с Дэмиэном, а тот – напротив Мелиссы, которая сидела рядом с Майклом. Дэмиэн изо всех сил пытался абстрагироваться от голоса Стефани и не смотреть на Мелиссу в упор: он опасался, что начнет откровенно пялиться на нее и тогда все увидят, что он пялится. Почему она сегодня такая хорошенькая? Почему у него возникло это диковинное ощущение – что ему полагается быть с ней, что пары распределены неверно? Ему трудно было вести себя так, словно все происходит правильно. В своих раздумьях он потерял нить разговора и не понял, что она имела в виду, когда спросила:

– А ты как, Дэмиэн? Никогда не думал вернуться?

– Куда вернуться?

– В Лондон.

Дети сидели на ковре по другую сторону церковной арки, где у них был ужин-пикник. Эми Уайнхаус пела, как она всегда поет, – словно не сумеет вспомнить следующую строчку, хотя потом всегда вспоминала, всегда возвращалась.

– Я об этом много думаю, – сознался он. – Я бы с радостью.

– Да ну? Почему? Тут такая тяжелая жизнь, – заметила Стефани. – Сколько там раз в этом году подростки кого-нибудь резали или в кого-нибудь стреляли? Раз сорок? Джерри, не вытирай руки о футболку, возьми салфетку.

– Двадцать восемь, – уточнил Майкл.

– Двадцать восемь. Ну, этого более чем достаточно, правда?

– Во всяком случае, о стольких сообщили в полицию.

Дэмиэн сделал последний глоток вина (на обратном пути машину должен был вести он).

– Не стоит обращать особое внимание на то, что говорят в новостях, – произнес он, обращаясь к Стефани. – Они дают нереалистичную картину. От этого люди становятся параноиками. Ты смотришь слишком много новостей, дружок.

– Но проблема с местными бандами действительно есть. Это же факт, правда? Я их сама видела. – Она поведала о мужчине с камнем близ малого кругового перекрестка в Форест-Хилл и о том, как это стало для нее последней каплей. – Некоторые из этих ребят глядят на тебя так, словно убить готовы. Как будто у них не осталось никаких принципов, никаких ограничений. Я понимаю, они не виноваты, виновато окружение. Но это хоть как-то пытаются исправить? Что делать со всей этой преступностью?

Словно в ответ на ее вопрос с улицы послышался вой сирены, а потом стих вдали.

– Видите? Там, где мы живем, их редко услышишь.

– Сирены везде, – возразил Майкл. – Они могут означать самые разные вещи. И виновато не только окружение. Эти ребята должны понять, кто они, кем могут стать, как им управлять своей жизнью. Я как раз с такими работал в молодежных клубах. – Когда Майкл был радиоведущим, он иногда проводил мастер-классы в молодежных центрах Лондона. – Некоторые из них были просто плохие люди, до мозга костей, это правда. Но большинство были не такие. Они просто еще... не сформировались.

– Как раз в этот период им грозит наибольшая опасность, – вставил Дэмиэн.

– Именно так. Нельзя просто собрать их всех и бросить в тюрьму. Это бессмысленно. Нет, позвольте им найти любимое дело: в музыке, в науке, в архитектуре. Если их что-то воодушевит, вся эта бандитская жизнь перестанет казаться им привлекательной.

– Я где-то читала, что мальчики в уличных бандах имеют гомоэротические наклонности, – сообщила Мелисса.

– Хочу в банду! – закричал Джерри.

– Нет, не хочешь, – твердо сказала Стефани, но засмеялась вместе со всеми. Не переставая смеяться, она подошла к сыну, чтобы вытереть ему лицо. – Вообще я же как раз об этом и говорю. Совершенно не хочу, чтобы они росли среди всех этих неурядиц и столкновений. Может, для кого-то Лондон и центр мира, – она имела в виду Дэмиэна, – но, вы уж извините, мне как-то не кажется, что это подходящее место для того, чтобы растить детей.

Сверху донесся плач, громкий и настойчивый.

– Блейк плачет, – заметила Риа (у нее на левой руке по-прежнему была белая перчатка). – Можно нам обратно подняться?

– Я думал, ты хотела телевизор посмотреть? – сказал ей Майкл.

Мелисса уже вставала, но тут Стефани спросила у нее:

– Может, я схожу? А ты отдохни. Я его принесу.

Она ушла, и вскоре плач прекратился. Стефани вернулась с Блейком на руках; лицо у него распухло от сна, волосы над золотистой прядкой примялись к затылку. Стефани прижимала его к себе, успокаивая тихим воркованием:

– Ах ты бедняжка, уставшая милашка, бедный лучик, вы только поглядите, просто принц, все хорошо, все хорошо. – И он уже был совершенно доволен и расслабленно обмяк в ее объятиях. Когда он заметил свою мать, его ручки вдруг вскинулись в безмолвной радостной песне, тельце задергалось, вспыхнула крохотная улыбка. Мелисса взяла его.

– Хотела его обратно уложить, но он ни в какую, – пояснила Стефани. – Думаю, он замерз. Там в комнате довольно холодно.

– Да? Мне тоже иногда кажется, что там холодно.

– Ну, если тебе так кажется, то ему и подавно. Может, стоит накрывать его вторым одеялом?

– А это не опасно, когда слишком много одеял? – После той ночи, когда случилось дурное предзнаменование, Мелисса опасалась чрезмерного тепла. А теперь забеспокоилась, что тепла недостаточно. В стране материнства всегда найдется о чем поволноваться. Мелиссе казалось, что она всему учится сызнова. – Я что-то такое читала в книжке «Заклинатель младенцев»...

– Ой, заклинатель-шмаклинатель, – отмахнулась Стефани. – Не верь этим дурацким книжкам. Это твой ребенок, ты сама знаешь, что надо делать. Сейчас столько всякой литературы насчет того, как заботиться о ребенке, все так любят командовать, тебе не кажется?

– Нет. По-моему, это довольно полезно.

Иногда Мелисса заглядывала в эти книжки посреди ночи, когда Блейк безостановочно плакал. Иногда она вцеплялась в них обеими руками, отчаянно выискивая какую-нибудь чудодейственную фразу, зерно небесной мудрости, которое смогло бы усыпить Блейка. Иногда доставала эти книги перед тем, как сама ложилась спать, вместо одного из тех романов, которые пыталась одолеть заново, или какого-нибудь сборника хороших стихов. Выходит, это опасное поведение. – Я не все их читаю, – добавила она, словно защищаясь, – только вот эту и еще Джину Форд, чтобы напомнить себе...

– Джина Форд! – От вина голос Стефани делался все громче. – Эта женщина вообще понятия не имеет, что это такое – быть матерью. У нее даже детей нет! Господи, она же просто няня. Что дает ей право указывать людям, как им заботиться о собственных малышах? Мол, они должны просыпаться в семь утра, а потом засыпать в девять утра, обедать не позже половины двенадцатого, а ровно в четырнадцать двадцать четыре надо менять им подгузники? Младенца нельзя втиснуть в такое расписание, это жестоко и бессмысленно. Когда ты меняешь подгузники? Когда нужно их поменять! Когда ты его укладываешь спать? Когда...

Ее прервал стук в окно.

– Что это?

Майкл подошел посмотреть, отвел в сторону жалюзи.

– Это миссис Джексон. В такую погоду. Бог ты мой.

Миссис Джексон была их соседкой из дома номер восемь. Ей было семьдесят с чем-то, она жила одна и постепенно забывала себя – как ее зовут, где ее пальто, какой у нее номер дома. Примерно каждые два дня она бродила взад-вперед по Парадайз-роу – как правило, в шлепанцах, с растрепанными волосами, – пытаясь разъяснить всем встречным, что она не помнит, где живет, но встречные не всегда могли ее понять, поскольку на половине фразы она сбивалась и заканчивала чем-то далеким от сути дела.

– Отведу-ка я ее домой, – сказал Майкл и вышел в темноту.

Он нравился миссис Джексон своим добрым лицом и мягкими манерами. На ней было лишь домашнее платье зеленого цвета, без пальто; тощие коричневые лодыжки торчали из-под подола, как палки; их терзал ветер.

– Вам не следует выходить на улицу в такой час и в такой холод, – сказал Майкл. – Вот он, номер восемь, видите? Вот ваш дом, вот этот, с желтой дверью.

– Спасибо. – Миссис Джексон взяла его руку в свои и улыбнулась, глядя на него снизу вверх. – Спасибо, милочка. Добрый ты парень. Ты так похож на сынка моего, Винсента, он в субботу приедет из Америки, он всегда привозит мне всякую одежду, кастрюли, обувь, он такой хороший мальчик...

– Кому-то надо за ней присматривать, – заметила Мелисса, когда Майкл вернулся. – Это уже в третий раз за неделю.

– Бедняжка, – сказала Стефани.

На десерт был нью-йоркский чизкейк с фисташковым мороженым.

На обратном пути Дэмиэн сидел за рулем молча; на обочине иногда появлялись лисы, и их сверкающие глаза напоминали ему о поблескивающих кисточках на топе, об изгибе шеи в том месте, где начинается линия волос, об особенной форме носа в профиль. Вернувшись домой, он ничего не написал.

\* \* \*

В эту ночь, лежа в главной спальне, Мелисса никак не могла заснуть. Дети спали в соседней комнате. Как обычно, она напоследок заглянула к ним: проверила, дышит ли Блейк, не закрыло ли одеяло ему лицо, не уменьшилась ли Риа, – нет, не уменьшилась, а ее картонный домик был заперт на ночь. Завтра она еще с ним поиграет, и они проведут долгое семейное воскресенье в обычном стиле этого скособоченного дома: съездят к матери Мелиссы на ту сторону Темзы, поджарят птицу, будут ждать понедельника, когда Майкл снова пойдет на работу, а она останется здесь, на Парадайз-роу вместе с Блейком.

Сейчас Майкл уже спал. Дождь настроил его на романтический лад, и чуть раньше он потянулся к ней в красном сумраке комнаты и его руки вопрошающе сомкнулись у нее на талии; но она не могла настроиться на его скрытую красоту, на этот бумеранговый свет рядом с его сердцем. Снаружи по-прежнему, потряхивая жалюзи, дул сильный ветер – особенно в левое окно, откуда всегда тянуло сквозняком. Мелисса вылезла из постели и снова попыталась его открыть, чтобы потом закрыть как следует, и мельком взглянула на темные окна напротив, входные двери, квадратные садики. Ей не хватало неба за окном, как в их старой квартире на восьмом этаже. Там звезды казались такими близкими, а до луны было рукой подать. Мелисса успела привыкнуть к соседству Млечного Пути, и вид этих домов на другой стороне улицы вызывал у нее такое чувство, словно ее обокрали.

Как она ни дергала ручку туда-сюда, окно не желало поддаваться. И у нее вдруг возникло странное чувство, словно позади нее кто-то стоит совершенно неподвижно – ночное создание, как их называла ее мать. Существа, которые бродят в ночные часы, не совсем люди, которые наблюдают за нами. Мелиссу всегда пугало, когда Элис о них говорила. Она обернулась посмотреть, но там ничего не было, только сумрак комнаты, приотворенная дверь, за ней – лестница и потолочный люк. Окно дрожало и тряслось в своей раме. Казалось, кто-то – или что-то – пытается забраться внутрь. А может, выбраться наружу.

## 4

**Со мной твой зум-зум будет делать бум-бум**

До работы Майкл предпочитал добираться на автобусе: тут он мог смотреть в окно, к тому же он где-то прочел, что даже вылизывать унитаз полезнее для здоровья, чем сидеть на креслах обычного поезда метро. А если бы он предпочел метро, то пришлось бы сначала ехать на автобусе из своего района, о котором метро забыло, до Брикстона или до станции «Элефант-энд-Касл», а там спуститься в сутолоку лестниц и туннелей; к тому же он не любил быть под землей. Чтобы размяться, он шел переулками к круговому перекрестку возле кафе «Коббс-Корнер», неся на плече сумку, а в ней – флакон санитайзера; там Майкл садился на 176-й, который вез его по задам Форест-Хилл, через Верхний Сайднем, через Далвич и Камберуэлл, к фуксиевым вспышкам района Элефант-энд-Касл, а потом к Ватерлоо, через реку, на тот берег. Поскольку остановка Майкла была одной из первых, обычно ему доставалось его излюбленное место – второе впереди по левой стороне, – и всю дорогу он смотрел в окно на узловатые городские деревья, серые скопления голубей на газонах, ранних курильщиков близ остановок, зимние пальмы возле Далвичской библиотеки, приостановленные стройки, младенцев в колясках, с озабоченными лицами указывавших куда-то рукой, африканскую забегаловку в тени фуксий, маникюрные салоны на Уолворт-роуд, балконы многоквартирных домов, напоминающие поилки для скота, расселенные многоэтажные дома квартала Эйлсбери-истейт, небрежную походку патрульных полицейских, церковные шпили среди спутниковых тарелок, сомнительные гостиницы, мужчин с телефонами, женщин в нарядах, парней в виднеющихся из-под штанов трусах и их несимпатичных городских собачек какой-нибудь новой породы, железнодорожные пути, живые изгороди, проглядывающую там и сям зелень и ручейки.

На подступах к Темзе улицы начинали расширяться в бульвары, на какие-то мгновения становясь почти парижскими – стены домов чуть более гладкие, каменная кладка чуть более импозантная, – стряхивая с себя угрюмость, шероховатость южных окраин; словно женщина с растрепанными волосами приглаживала их, ступив в воды реки, которые поблескивали, бурлили, вихрились и закручивались вместе с ветром, а женщина шла вперед, и перед ней открывалась панорама севера: Парламент, Сомерсет-Хаус с его колоннами, флагами и лепными фигурками детей по антаблементу. В центре города и грязь была другой – грязь, происходящая от денег, их крайнего недостатка или избытка; один пафосный отрезок Стрэнда немного напоминал Нью-Йорк, а ближе к последней остановке, «Тоттенхем-Корт-роуд», открывался широкий проем Трафальгарской площади, над которой парил Нельсон на фоне Национальной галереи, а множество птиц слетались к чаше холодного голубого фонтана, словно к священному источнику.

В автобусе Майклу проще было убедить себя, что он не участвует во всей этой мышинной возне. Да, он носил костюм, у него их было три (черный, темно-синий и серый), два из них он приобрел лишь недавно, когда начал работать в «Фридленд Мортон». Однако носил его кое-как, словно избегая контакта с тканью. Его подлинная сущность оставалась нетронутой, безучастной, на самом деле она носила бежевые свободные штаны; к тому же поверх костюма было надето просторное, довольно модное зимнее пальто, так что Майкл казался не таким квадратным и меньше походил на картонную коробку с ножками. В автобусе публика отличалась большим разнообразием, чем в метро, и, вместо того чтобы сидеть друг напротив друга и мрачно глядеть в сумрак за подземными окнами, все сидели лицом вперед. Каждый ехал сам по себе, никто ни за кем не наблюдал. Не все пассажиры ехали на работу. Вот женщина в желтой шляпке, с девочкой годом-двумя старше Риа: вероятно, они ехали в паспортный стол в районе Виктория, или в Музей мадам Тюссо, или в Музей детства в Бетнал-Грин (Майкл любил эту

мысленную игру – представлять себе другие варианты жизни, другие варианты понедельников и вторников). Вот мужчина средних лет, на переднем ряду с другой стороны – пьяный, серо-малиновый, навалившись на поручень перед собой, мотается из стороны в сторону в такт рывкам автобуса (едет в центр занятости на Уолворт-роуд или в паб, подождет открытия у входа, а может, он ездит туда-сюда на автобусе безо всякой цели: доезжает до конечной и не понимает, где оказался, так что опять садится на автобус, и опять то же самое). А вот два подростка в школьной форме («Короче, если ты ему наваляешь, я тебе дам десятку. Реально десять фунтов!»), которые едут не в школу. Майкл отлично знал, как выглядят ребята, когда направляются не в школу. Он сам в их возрасте много раз так делал, и тогда мог отправиться всего в три места: в парк, в торговый центр или в гости к одному из друзей – при этом изо всех сил стараясь замаскировать свой страх шумным поведением и дурацкой развязной походкой. Теперь они, чужие друг другу люди, ехали по улице Денмарк-Хилл, мимо больницы, где родился Блейк, мимо обветшавшей пятидесятнической церкви в ряду домов с магазинами на первом этаже. Майкл делал вид, будто и он тоже едет куда-то еще, в какое-то неожиданное место, где от него не требуется так много. Ему не очень-то нравилось работать специалистом по корпоративной ответственности в управляющей компании «Фридленд Мортон». В глубине души он чувствовал родство с этим старым малиновым пьянчужой. Майкл всегда относил себя к людям, которые либо умирают в молодости, либо становятся бродягами, рыдающими на парковой скамейке. Когда-то он был уверен, что не доживет до тридцати, и теперь, в тридцать семь, он был немного озадачен и всегда помнил о возможной альтернативе. Он чувствовал: если бы когда-нибудь, по какой бы то ни было причине, его освободили или отобрали у него его тяжкие и прекрасные обязанности, он бы с легкостью пошел на дно, чтобы честно воссоединиться со своим более потрепанным «я», – подобно воздушному шару с погасшей горелкой.

В пути Майкл слушал музыку на айпоне. В списке «Любимые треки» значилось несколько исполнителей, в том числе Шагги Отис, Нас, Долли Партон и Джилл Скотт, но «любимым альбомом» по числу прослушиваний стал у него дебют Джона Ледженда *Get Lifted* 2004 года, и это было путешествие совсем иного рода. Оно начиналось коротким фортепианным водопадом, под аккомпанемент которого Джон приглашал пойти с ним вместе, чтобы увидеть кое-что новенькое, а затем волнами поднималась череда теплых мелодий, прослоенных госпелом, в интерпретации Майкла означавших одиссею мужчины, который постепенно превращается из ловеласа, любителя тусить в клубах и собирать телефонные номера, жадного до удовольствий изменника в ответственного, зрелого и преданного спутника жизни. Это был медленный и трудный путь, усеянный конфликтами и искушениями. Он любил свою подружку, но любил и свою свободу, и неужели подружка не понимает (пел он в «*She Don't Have to Know*»<sup>4</sup>): хоть он и спит со всеми подряд, это вовсе не значит, что он ее не любит? Хоть он однажды слинял в Вашингтон, чтобы у всех на глазах подержаться за руки с другой женщиной, надев темные очки, чтобы его не узнали, – это не значит, что его подружка для него не та единственная? Нет, она не понимала, но штука была в том, что его подружка, та единственная, – не какая-то там обычная девушка. Она была особенная, крышесносная, «просто запредельная!». Снуп Догг порицал его за это в следующей песне – «*I Can Change*»<sup>5</sup>. Он говорил: «Когда находишь такую девушку, чувак, ты должен изменить себя, ведь такие попадаются нечасто, а когда попадают, ты должен просечь, что пора меняться». Этот момент влек за собой грандиозное и окончательное разрушение беспутного собирателя женских телефонов: путь по мосту справедливости на другой берег, к тому, кем ты мог быть, к твоему лучшему «я», к тому, кто заслуживает эту девушку. Джон не хотел этого делать. Ох, это было тяжело, ведь он любил этих женщин, всех, всех теплых и обольстительных женщин в мире. Но все-таки он это сделал. Он

<sup>4</sup> Ей не обязательно знать (англ.).

<sup>5</sup> Я могу измениться (англ.).

провел в муках неопределенности одну песню, которая называлась «*Ordinary People*»<sup>6</sup>, в ней его любовь была несомненна, но то и дело наталкивалась на всякие сложности, и каждый день вспыхивали ссоры, и никто не понимал, куда двигаться. Было два варианта: остаться с тобой (песня «*Stay With You*») или нет. Он остался. И в некоей точке за этим распутьем он достиг – они достигли – восхитительного плато. Они вышли в дикий и безмятежный воздух седьмого неба, и сказочно занимались любовью, и так глубоко понимали друг друга, и шли дальше, вперед, вместе, так высоко (песня «*So High*»), в будущее, которое повторит жизни их родителей – тех, которые не развелись. Когда на улице было холодно, они становились убежищем друг для друга (песня «*Refuge*»), сладостным омытием души, солнечной тропой. Он проникся семейными ценностями и затосковал по той простой поре, когда семья была средоточием всего. Вот что действительно важно: проводить время с любимыми и продолжать любить их. Он вырос. Он достиг другой стороны. Он потерялся, но теперь нашелся, и на протяжении всего пути – фортепиано, отдаленное порхание струн, шелканье пальцами, вихри медных тарелок, голос Джона, насыщенный, как осеннее золото. Он закончил на высокой ноте песней «*Live It Up*»<sup>7</sup>: уверенные колыхания басов, эйфория скрипок, финальное торжество любви и жизни во всей ее борьбе, сложности, полноте. Это был один из лучших соул-альбомов в истории.

На тринадцатом году жизни с Мелиссой Майкл не очень понимал, в какой точке этого сюжета находится он сам. Он был бы рад сказать, что он «так высоко» или в чуть менее воодушевляющем «убежище», но это была бы неправда, хотя иногда случались такие мимолетные мгновения, особенно в духе «убежища»: к примеру, по вечерам, когда дети уже спали и Мелисса хлопотала на кухне или сидела в интернете, устроившись за обеденным столом, и в доме царил покой, теплоты, защищенности. Майкл давно миновал муки центральной песни и принял решение «остаться», но временами казалось, что он соскальзывает назад, невольно задумываясь, не мог ли он стать счастливее с кем-то другим или вообще сам по себе – снова стать холостяком, поселиться в однокомнатной квартире в Кэтфорде, поблизости от детей, чтобы в выходные водить их в игровой центр, или в Бродвейский театр, или к его матери. Может, ему следует стать одним из этих мужчин, отцом на расстоянии. Возможно, он так никогда и не уничтожил в себе окончательно собирателя женских телефонов и по-прежнему пребывал где-то в окрестностях «*She Don't Have to Know*». Потому что, откровенно говоря, сейчас казалось, что они с Мелиссой не более чем соседи. В не таком уж отдаленном прошлом, когда он возвращался домой, она шла в его объятия и прижималась к нему, улыбаясь этой своей великолепной, сногшибательной улыбкой, и они тут же принимались восторженно разговаривать – о том, что произошло за день или с кем они виделись, что прочли, какую прелестную фразочку сказала Рианна, куда они поедут отдыхать. Их разговоры были как река, непрерывный поток, опьяненный собственным движением. Реке не было дела до их временной физической разлуки, она продолжала течь у них в головах, так что воссоединение всего лишь делало ее полноводнее. Но теперь было не так. Теперь, когда он возвращался с работы в своем костюме, Мелисса стояла у раковины на кухне, не поднимая глаз. Никакой улыбки, никаких объятий. Она больше не ставила поцелуйчики в конце своих эсэмэсок и писем. Теперь было только: «Можешь заскочить в супермаркет? Кур. бедра, консервы, салфетки, молоко», или «Купи туалетную бумагу, пжлст», или: «Сможешь быть дома к 18:30, чтобы мне успеть на зумбу?» Майкл поднимался наверх, чтобы переодеться в тренировочный костюм, и на полу рядом с корзиной для грязного белья видел три пластиковых пакета с одеждой, в которой он стригся: Мелисса безмолвно, с нарастающим раздражением, ожидала, когда он ее постирает сам. А потом, когда дети уже были в постели, Майкл и Мелисса обычно удалялись в свои обособленные царства: он – на диван перед телевизором, она – в спальню с книгой. Они жили в двух разных домах

<sup>6</sup> Обычные люди (англ.).

<sup>7</sup> Живи полной жизнью (англ.).

в пределах одного небольшого дома. «Отношения могут стареть, – пел Джон, пока 176-й приближался к реке, – и со временем охладеть».

Романтическая одиссея Майкла, хоть и не такая беспардонная, в целом походила на одиссею Джона – этого мистера Ледженда, который на обложке диска шел к алтарю в костюме, скроенном получше, чем костюм Майкла. Подобно ему (или тому образу, который Джон Ледженд создал в своей музыке), Майкл тоже познал немало женщин, прежде чем остепенился. В любви он был робким и пытливым, и за это нравился женщинам: сокурснице-политологу из ШВА<sup>8</sup>, модели из Гондураса, девушке из супермаркета. Но никому из них он не отдавал себя целиком, когда с ними спал, а только на определенный процент, доходивший до ста лишь в случае, когда имелись известные гарантии и уверенность в том, что он не подцепит половую инфекцию. Майкл берег себя для чего-то, для кого-то, кого он не представлял четко, только знал, что это будет кто-то мягче, чище, возвышеннее. Его страсть отличалась деспотизмом. Он был создан для великой любви. И в поисках этой великой любви он, как и Джон в песне «*Used To Love U*»<sup>9</sup>, оказался в отношениях, которые не удовлетворяли его, он разлюбил ее – и, более того, даже стал задаваться вопросом, любил ли он ее вообще когда-нибудь.

Ее звали Джиллиан, и она обожала его с каким-то жаром отчаяния, в котором он задыхался. Она училась на педиатра и играла на флейте. У нее были мягкие, пухлые губы флейтистки. Она была талантлива, она переживала за окружающий мир и хотела сделать его лучше, она выпускала изо рта парящих серебряных птиц. Но она слишком сильно хотела его – больше, чем что-либо еще, доступное ей. В свой двадцать второй день рождения (Майклу тогда было двадцать три), сидя с ним за столиком в карри-хаусе на Брик-Лейн, она сделала ему предложение. Она была немного пьяна, но говорила всерьез, и Майкл ответил: может быть, возможно, когда-нибудь – хотя вовсе так не думал, он просто не хотел ее обижать, потому что ей в жизни и так пришлось пережить немало страданий. На каждом шагу ей встречались мужчины, которые хотели ей навредить. Ее приемный отец тайком гладил ее по ночам. Ее домогался тренер по легкой атлетике, когда ей было двенадцать. Еще был какой-то мужчина в кухонной кладовке (из-за этого она не любила кладовки, особенно если у них закрыта дверь: у нее была привычка держать их отворенными): он пришел починить водонагреватель, но обнаружил ее, маленькую, в зеленых летних шортах, и сначала неподобающим образом потрогал ее в кладовке, пока никто не видел, а уж потом починил нагреватель. Даже удивительно, говорила она Майклу, как много в мире мужчин, которые хотят воспользоваться девушкой на минутку, чтобы утолить какой-то жуткий и быстро проходящий позыв. Просто невероятно много.

У Джиллиан была тяжеловатая, приседающая походка, словно она все время спускалась в невидимый подвал. Она казалась легкой, лишь когда играла на флейте. Она часто плакала. Когда они с Майклом были на людях, она всегда хотела идти с ним под руку или взявшись за руки – показывая, что на эту женщину уже заявили права, что она под защитой. Она с удовольствием готовила для него. Ей нравились традиционные женские роли, и она не восставала против предполагаемых ограничений, против этой могучей патриархальной тени. Рядом с Майклом Джиллиан отпускала себя, погружалась в теплоту его счастливой семьи – единственной счастливой семьи в ее жизни, – в это странное собрание веселых людей, в любвеобильные ароматы, исходящие из кухни его матери, в атмосферу тихого загородного дома. Она проводила с ним три ночи в неделю, четыре, пять, она любила его рано утром, пока его родители спали в комнате по ту сторону коридора, обхватывала его ртом, ничего не прося взамен, – только чтобы он лежал под ней, часто дыша и придерживая ее затылок ладонью, словно защищая. Сейчас Майкл думал о ней, слушая припев из «*Used To Love U*», хотя она не была похожа на девушку, о которой пел Джон, – такую, которой всего мало, которая очень высокого мнения

<sup>8</sup> ШВА – это SOAS, Лондонская Школа востоковедения и африканистики.

<sup>9</sup> Когда-то я любил тебя (англ.).

о себе. Джиллиан вообще ничего не думала о себе, и в этом наиболее ярко проявлялась ее проблема. Она считала, что ей повезло, раз такой человек, как Майкл, приличный и добрый, принял ее, – и, едва заполучив его, она угнездилась в его жизни, точно маленький боязливый зверек. Отец Майкла души в ней не чаял. Она как раз соответствовала его ожиданиям: девочка, которая будет любить его младшего сына серьезно и щедро, девочка с благоразумными профессиональными планами. Со временем он стал относиться к ней как к дочери (однажды, когда они ездили за покупками в Вуд-Грин, он представил ее кому-то как свою невестку).

И все это усложняло ситуацию. Через два года их романа Майкл пришел к выводу, что не любит Джиллиан и никогда не полюбит. На двоих у них было слишком мало того, с чем два человека могут шагнуть в пропасть, веря, что вместе воспарят. Он очень старался. Старался навсегда утвердить свое сознание в том мгновении, когда, занимаясь с ним любовью, она выводила его в открытое море и он восхищался ее силой; или в каком-нибудь мгновении их первых месяцев, когда она была для него совсем новой, – еще не развернутый подарок, сулящий неведомые возможности. Но долго продержаться не получалось. Он снова соскальзывал в ощущение, будто ему хочется отдалиться от нее, будто она подминает под себя его жизнь, мешает ему ясно видеть и мыслить, мешает *быть*. Он начал недолюбливать определенные выражения ее лица; бездумное, безмятежное спокойствие, когда они вместе ехали в поезде; ее сосредоточенную, отрешенную и почти неряшливую манеру есть; ее привычку теребить кончики косичек. В клубах и барах Майкл начал поглядывать на других девушек. Ему не хватало смелости порвать с ней, так что (подобно Джону в «*She Don't Have to Know*») он заводил мимолетные связи, в небольших количествах, и его грызло чувство вины. Он отыскивал всевозможные предлоги, чтобы не находиться возле нее. В конце концов она стала что-то подозревать, и лишь тогда, на излете ссоры, он сказал ей, что хочет все это прекратить. Реакция была ровно такой, как он и боялся: слезы, мольбы. Но потом Джиллиан утихла. Она сидела на краю кровати, опустив глаза – глядя вниз, в свой подвал. Спустя некоторое время она торопливо напихала что-то из своих вещей в сумку и ушла, вежливо попрощавшись с его родителями, но не обняв их, как обычно. Через восемь месяцев она позвонила и попросила его вернуться, но к тому времени он уже встретил Мелиссу.

Когда находишь такую девушку, чувак, ты должен изменить себя, говорил Снуп. Мелисса-русалка. Мелисса, с ее отстраненным взглядом и сияющей кожей. Мелисса легкой поступью идет по лондонской улице в бежевых штанах, кроссовках и браслетах, а Майкл следует за ней со своим другом Перри («Смотри, какая она спортивная, она офигенно спортивная»). Она была мягче, чище, выше. Она была просто запредельная. Она любила плавать – именно из-за этого сияла ее кожа. Если Мелисса слишком долго не плавала, она чувствовала, что пересыхает, словно морское животное, выброшенное на берег, и ее настроение ухудшалось. Он познакомился с ней на Ямайке, на карнавале в городе Монтего-Бей (оба делали репортажи – Мелисса для журнала, Майкл для радио); они были на пляже – Майкл, Перри и еще несколько журналистов, – болтали, играли в волейбол, и она отделилась от их компании и вошла в воду. На ней был старомодный купальный костюм черного цвета с диагональной белой полосой посередине, закрывающий верхнюю часть бедер. Майкл смотрел. Смотрел, как ее роскошное тело вступает в волны, как вода тянется к ней, одинокой, бесстрашной. Она поплыла прочь от берега. Ее смуглое тело изгибалось в синеве, русалочий поток, вращающийся новый мир. Она уплывала все дальше и дальше, а он смотрел, как волны поднимаются и опадают, катятся к берегу и соскальзывают назад. Он видел, как ее крепкие смуглые руки бьют по воде в кроле. Видел край моря, где оно закруглялось вместе с Землей, так что дальше уже ничего не было видно, видел скалы и остров. Майкл не отрывал взгляда от взмахов этих смуглых рук, но это становилось все труднее и труднее: ее захватывала ширь моря. А потом он потерял ее из виду. Она исчезла. Повернула за край океана. А может, соскользнула в глубину, может, ее что-то затянуло вниз. Он запаниковал. Его сердце забило быстрее: вот только что она была здесь,

эта сверкающая новенькая вещица, о которой он хотел узнать побольше, – а теперь ее нет. Майкл не мог проплыть и метра, но им овладел какой-то порыв, и он двинулся вперед. Закатал джинсы и, длинноногий, вошел в море. Он понятия не имел, что намеревается предпринять, и, когда забрался так далеко, как только мог, не отрываясь от дна, остановился и стал ждать, пытаясь заглянуть как можно дальше за край. Но ее не было видно. Через некоторое время он, промокший, вернулся назад и тупо стоял на берегу в мокрых джинсах, желая ее спасти, страстно мечтая стать ее героем, уже чувствуя (как часто будет чувствовать впоследствии), что недостойн ее. Потом он стал злиться на нее – как она могла просто взять и уйти, встревожить кого-то и вести себя так, словно ее не существует, словно его тоже не существует?

Она вернулась через двадцать минут, смеясь и с трудом переводя дыхание. Вся его злость улетучилась, когда она направилась к нему – ее сила, ее бедра, ее лицо, ее счастье, вот это море, сказала она, вот это заплыв, и он тоже смеялся: «Я думал, ты утонула». Это была она. Та Самая, Единственная. Он хотел ее. Хотел, чтобы с ним ее «зум-зум сделал бум-бум». Она ему так нравилась, что в этом даже, казалось, крылась некая опасность. Он сказал Перри: «Однажды она мне разобьет сердце. Я точно знаю».

Ладони у нее были маленькие, как и ступни. Она носила серебряные кольца с нефритом и янтарем. Она была как куколка – почти бесполовая. Профиль у нее был мечтательный. Он часто ее рассматривал. Она любила приключения. Ей хотелось поехать в Аргентину. Она слышала, что на самом севере Аргентины есть горный хребет красного цвета, особенно живописный на закате. Ей хотелось поехать в Севилью и на юго-восточный берег Корфу. Ей хотелось поехать в Мексику и посетить дом Фриды Кало, подняться в перуанские Анды, жить где-нибудь вдали от Англии, существовать не там, где началась ее жизнь; ей хотелось проглотить весь мир. Она ни в чем не походила на Джиллиан – сосредоточенная на себе, самоуверенная, дерзкая. Она говорила, что ее никто никогда не сможет ограничить, что она никогда не будет находиться там, где почувствует себя стесненной. Майкла переполняли вопросы – куда больше, чем с какой-либо из прежних женщин, и ей это нравилось, нравилось, как внимательно он слушает ее. Он хотел знать все уголки и коридорчики ее сознания. Разворачиванию ее оберток не было конца. Чем больше он открывал, тем больше оставалось неизведанным. Она относилась к будущему мистически: казалось, она верит, что направляется не туда, куда стремятся все остальные, что ее жизнь сложится совершенно по-другому, что в каждое мгновение она словно бы сберегает себя, тайно обогащает себя, как Майкл Джексон в его стеклянном гробу, – держась поодаль от людей, чтобы не отвлекаться. Эти отстраненные глаза, всегда такие загадочные. «О чем ты думаешь? – спросил он у нее вечером на пляже. – Вот прямо сейчас, в эту минуту?» Он пытался поймать ее стоп-кадром. Но она ускользала. Она говорила «Я всматриваюсь в свои мысли» вместо того, чтобы сказать «Я думаю». Она выражалась с буквалистской цветистостью. Позже она будет посвящать ему стихи. Из Рима она писала: «Мой рот тоскует по твоему лону-подбородку» (имея в виду его эспаньолку).

За знакомством в Монтего-Бей последовали три месяца телефонных разговоров, во время которых они обсуждали свое прошлое и будущее, два дома Эдгара По, драматизм в песнях Мэри Джей Блайдж, глубину Кассандры Уилсон, партию «Национальный фронт», полицейских, Маргарет Тэтчер и ее политику, вулканы, родные страны их матерей и их собственные поездки в эти страны, размывание границ между ритм-энд-блюзом и поп-музыкой. Майклу часто удавалось ее рассмешить. Точно, раньше она очень много смеялась. Смеялась так, что из ее гортани раздавались какие-то клейкие звуки; ей было очень неловко (говорила она), потому что она тогда работала в маленьком офисе и всем было ее слышно. Во время этих разговоров все прочее исчезало, Майкл с Мелиссой были полностью поглощены голосами друг друга, медленно плавившись во взаимном огне, но ему потребовалось три месяца, чтобы лечь с ней в постель. Она снимала в модном Кенсал-Райз комнату с раковиной в углу и позволяла ему переночевать после вечеринки или свидания, но он всегда спал на полу. В первый раз они

поцеловались лишь после того, как он попросил у нее разрешения, он не мог найти другого способа, он стал робким – оттого, что она ему так нравилась, и от этого чувства, что она разобьет ему сердце. Они стояли возле раковины, поужинав спагетти с веганским фаршем (еще она ела тыквенные семечки, мюсли и другой птичий корм). Она была в розово-голубой дашики с очень откровенными прорезями рукавов, и он весь вечер пялился и старался не пялиться на ее смуглоту, на ее невысокие сладостные холмики, а теперь вечер кончился, и ему пора было уходить, потому что к ней должна была прийти ее подруга Хейзел, а он так и не поцеловал ее. Так что он честно сказал об этом и попросил разрешения, как мальчик, и она ответила «да», как девочка. Он наклонился к ней. Их губы сошлись, и мягкость, теплота стала неожиданным вихрем, взрывом; этот поцелуй не требовал усилий, он существовал сам по себе, полностью сформированный, экстатичный по своей природе и при этом беспечный, он обладал собственной психологией и характером, он мог бы носить имя Франклин, или Дездемона, или Анджелина; и Майкл так увлекся, что подхватил ее, донес до кровати и усадил над собой, где ей и полагалось быть, и запустил руки ей под платье, и наконец прикоснулся, – и тут их прервал стук в дверь: явилась Хейзел. Сама эта помеха, оборвавшая момент, сделала его еще значительнее.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.